Борис Зайцев — Далекое

БОРИС ЗАЙЦЕВ

ДАЛЕКОЕ

Inter-Language Literary Associates

1965

БОРИС ЗАЙЦЕВ

ДАЛЕКОЕ

Inter-Language Literary Associates

1965

Publisher: Inter-Language Literary Associates, Washington, DC, U. S. A.

Manufactured: I. Baschkirzew Buchdruckerei, 8 München-Allach, Peter-Müller-Straße 43.

К ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ
Б. К. ЗАЙЦЕВА

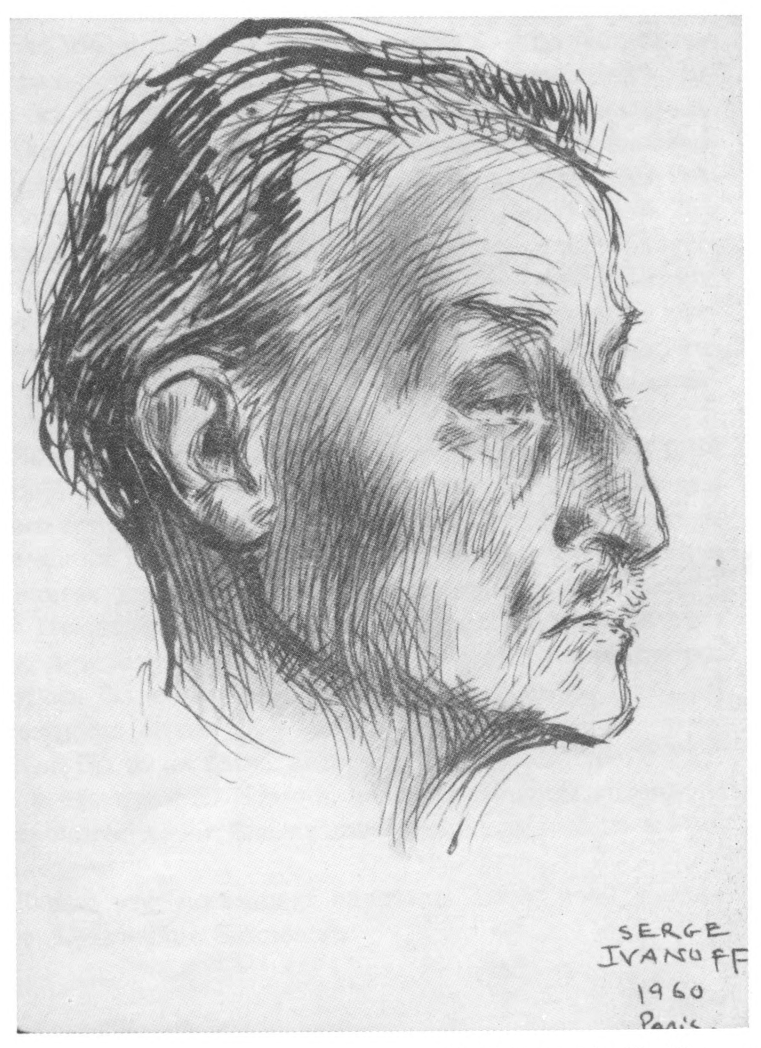


Рисунок худ. С. Иванова

Это книга о разных людях, местах — по написанию она разного времени, но все о давнем. Никого нет в живых из упоминаемых в ней,потому и много о смерти. Но как и мы, еще живущие, составляли они часть своего времени, а вернее сказать — были цветом той полосы российской, которая стала уже теперь историей. Все оставили след, больший ли, меньший, в литературе, культуре нашей. Все связаны с юными годами автора, видит он их в воздухе своей молодости. Никак не рассчитывая на полноту, передает просто то, что в душе, памяти осталось — сквозь призму лет, всегда накидывающую на былое свой покров.

Бȯльшая часть книги — о России. Но в конце и об Италии. Без нее трудно обойтись автору, слишком она в него вошла, да и не в него одного. С давнего времени — с эпохи Гоголя, Жуковского, Тютчева, Тургенева, и до наших дней тянется вереница русских, прельщенных Италией, явившейся безмолвно и нешумно в русскую литературу и культуру — по некоему странному, казалось бы, созвучию, несмотря на видимую противоположность стран.

Как бы то ни было, автору хотелось оставить о России, а частию и об Италии, некоторые черты виденного и пережитого — с благодарной памятью, иногда и преклонением.

Книгу эту посвящаю спутнице всей моей жизни Вере Алексеевне Зайцевой.

Россия

I

ПОБЕЖДЕННЫЙ

Я встретил Блока в первый раз весною 1907 года, в Петербуге, на собрании «Шиповника». Он мне понравился. Высокий лоб, слегка вьющиеся волосы, прозрачные, холодноватые глаза и общий облик — юноши, пажа, поэта — все показалось хорошо. Носил он низкие отложные воротнички, шею показывал открыто — и это шло ему. Стихи читал как полагалось по тем временам, но со своим оттенком, чуть гнусавя и от слушающих себя отделяя — холодком. Сам же себя туманил, как бы хмелел.

В те годы Блок переходил от «Прекрасной Дамы» к «Незнакомке». То, первое, весеннее от него впечатление более связалось с ранней его настроенностью (именно с настроением души, а как художник он вполне уж отходил от «первоначальной» своей манеры).

Июль 1908 года мне пришлось жить у Г. И. Чулкова, на Малой Невке. Осталась память о воде, прохладе, влажном Петербурге, запахах смоленых барж, рыбы, канатов. О взморье, о ночах туманно-полусветлых, о блужданьях — и о Блоке. Не глубокое воспоминание, и не скажу, чтобы значительное. Все-таки, осталось. Блок заходил к нам, мы бывали у него. Его образ, ощущение его в то лето отвечали кабачкам, где мы слонялись, бледным звездам петербургским, бродячей, нервно-возбужденной жизни, полу-искусственному, полу-

естественному дурману, в котором полагалось тогда жить «порядочному» петербургскому писателю.

Помнится, у Блока резче обозначились уже черты, вес в них прибавился, огрубел цвет лица. Уходил юноша, являлся «совсем взрослый». В этом взрослом что-то колобродило. Каким-то ветром все его шатало, он даже ходил как бы покачиваясь. И на сердце невесело — такое впечатление производил. Мы ездили в ландо на острова, в ночные рестораны, по ночным мостам с голубевшими шарами электрическими, с мягким, сырым ветром. Много и довольно бестолково пили, рассуждали, разумеется, превыспренно, особых незнакомок, впрочем, не встречали. Блок был довольно хмур, что-то утомленное, несвежее в нем ощущалось. Он нездорово жил, теперь-то это ясно, а тогда мы мало понимали.

От вина лицо его приняло медный оттенок, шея хорошо белела в отложных воротничках, глаза покраснели, потускнели. Но стеклянность взгляда их даже и возрасла.

Странные вообще были у него глаза.

* *
*

В эти годы и последующие Блок написал книги, глубоко вошедшие в нашу поэзию. Из них особенно пронзающей казалась мне «Снежная маска». Ее отчаянье заражало. Сильный, почти трубный звук был в ней. «Прекрасная Дама» рухнула, вместо нее метели (сильно Блоком, как и Белым почувствованные), хаос, подозрительные незнакомки — искаженный отблеск прежнего, Беатриче у кабацкой стойки. Спокойным это не могло быть. Рыдательность, хотя и сдержанная (Блоку не шел бурный экстаз) все проникала — и большая

искренность. Блок никогда не писал для «стихописанья». Формальное никогда его не занимало. У него не было особой выработки, «достижения» его не весьма велики. Стихом хмельным, сомнамбулическим записывал он внутренний свой путь. Его судьба — в его стихах. — А так как выражал он и судьбу некоей полосы русской жизни, то он идет в числе немногих «обязательных» в нашем веке.

В предвоенные и предреволюционные годы Блока властвовали смутные миазмы, духота, танго, тоска, соблазны, раздражительность нервов и «короткое дыханье». Немезида надвигалась, а слепые ничего не знали твердо, чуяли беду, но руля не было. У нас существовал слой очень утонченный, культура привлекательно-нездоровая, выразителем молодой части ее — поэтов и прозаиков, художников, актеров и актрис, интеллигентных и «нервических» девиц, богемы и полубогемы, всех «Бродячих Собак» и театральных студий был Александр Блок. Он находил отклик. К среде отлично шел тонкий тлен его поэзии, ее бесплодность и разымчивость, негероичность. Блоку нужно было бы свежего воздуха, внутреннего укрепления, здоровья (духа).

Откуда бы это взялось в то время? Печаль и опасность для самого Блока мало кто понимал, а на приманку шли охотно — был он как бы крысоловом, распевавшим на чудесной дудочке — над болотом.

* *
*

16 августа 1912 года, свежим утром, на Мясницкой у Эйнем, я встретил Блока — и запомнил встречу потому, что это был день важного события в моей семье — рождение нашей дочери. Радостно было встретить именно тогда Блока московского, — спокойного, при-

ветливого, дружески поздравившего и приславшего жене моей цветы и свои книги с очень ласковой надписью. Эти книги долго странствовали с нами, в разнообразных положениях страшной эпохи, — теперь развеяны по ветру.

А сам Блок надолго тогда ушел из поля зрения. Я жил в Москве, он в Петербурге — там и вел то сражение, которое есть — земной наш путь.

Ударила война. Он на нее, как-будто бы, не отозвался (общее тогда явление в России). За нею революция, конец всего того и зыбкого и промежуточно-изящно-романтического, что и был наш склад душевный. Блок стал уж признанной звездой литературы. За это время написал «Розу и Крест» — одно из самых тонких и возвышенных своих произведений, с удивительною песнью Гаэтана. Пьеса — в очень разреженном воздухе. Печаль ее неразрешима.

Затем, уж в революцию, шел «Соловьиный сад» — прощанье с прежним — наконец, «Двенадцать».

Ясно помню вечер, в одном литературном доме, когда подали мне серый лист газеты.

— Вот, смотрите, что Блок написал.

Фельетоном была напечатана поэма. Блок на сером и унылом листе газеты. Но Блок иной. «Прекрасной Даме», «Розе и Кресту» шла готика. «Двенадцать» — другой мир, уже клубившийся вокруг нас — шинелей и винтовок, и махорки, и мешечников, и крови. Ну, что же, взять его, не побояться, дать грозную его поэзию, возвести к высшему, р а з р е ш и т ь... чем не задача?

Я принялся читать. А позже — возвращался домой снежной, бурной ночью. Трамваев не было уже. Койгде постреливали, и нередко грабили. К обычному в те дни свинцу на сердце Блок подвесил гирьку новую — своей поэмой.

* *
*

«Наш, наш!» завопили одни, и кровавыми объятиями стали «обымать». — Блок с нами, вон он как попа продернул, и буржуя, и длинноволосого интеллигента... Ну, понятно, у самого пережитки... в белом венчике из роз, впереди Исус Христос... старый словарь... Но это первые шаги, а там он разработается.

Другие отходили — некоторые резко, иные с грустью.

— Блок стал большевиком! Такой поэт... и с ними!

Ни те, ни другие сполна правы не были, а основания имели. Действительно, двусмысленна поэма.

Появление Христа, ведущего своих двенадцать апостолов-убийц, Христа не только «в белом венчике из роз», но и с «кровавым флагом» — есть некоторое «да». Можно так рассуждать: идут двенадцать разрушителей старого (и грешного), тоже грешные, в крови, загаженные. Все же их ведет — хоть и слепых — какой-то дух истины. Сами-то они погибнут, но погибнут за великое дело, за освобождение «малых сих» — и Христос это благословляет. Он простит им кровь и убийства, как простил разбойника на кресте. Поэтому им «да», и «да» их делу.

Чем не мысль? И чем не тема для поэмы? А пожалуй, даже, и мистерии? Какое грандиозное разрешение? Сам Христос, за мир свою кровь изливший, сам омоет прегрешения?

Все это хорошо, но Блок такой поэмы не написал. Быть может, он хотел бы написать, — не смог.

Он написал не поэму разрешения, а духоты. В «Двенадцати» нет воздуха, ни света, и ни пафоса, ни искупления. Живое гибнет в ней, как в «Снежной маске»

(но еще сильней) — ибо нет духа животворящего. «Скучно!» — так кончается восьмая главка. Как не быть скучно в атмосфере смерти?

«И сказал Иисусу: помяни мя, Господи, егда приидеши во царствие Твое!»

«И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».

Это Священное писание. Но Достоевский не священный, просто писатель, и у него «убийца и блудница» читают вместе Евангелие, — только Евангелие — никакого Христа олеографического нет — и это трогает, и очищает. У Блока же все вышло мертво. В одном лишь «Петьке», застрелившем сдуру «Катьку», что-то шевельнулось — и заглохло. Разве дадут «этому» процвесть «апостолы»?

Не такое нынче время
Чтобы няньчится с тобой!

А раз Блок написал такую «скушную», «безвоздушную» и безнадежную революцию, то на что он, в сущности, революционерам? Разве может его поэма когонибудь воодушевить? Нет, ибо в ней нет духа. Потому-то она и двусмысленна, потому-то более умные из «тех» должны вполне от нее открещиваться, она полна того маразма, нигилизма, с каким вообще ничего сделать нельзя — даже человека убить.

Мертва духовно, и проникнута поэзией, вот удивительно! В «Двенадцати» есть поэзия, всегдашний блоковский хмель и тоска, и дикая Русь, и мрак. И еще удивительно: «Двенадцать» менее всего «произведение искусства». Это явление, происшествие. Показание на некотором суде. Блок тут себя предъявил. И можно понимать поэму, как порыв в борьбе, отчаянную контратаку в жизненном сражении — на давно наседавшего врага.

—Любви, любви! И разрешения! И воздуха!

Вот чего надо было Блоку. Надо было что-нибудь да полюбить, на чем-нибудь да утвердиться. Прекрасной Дамы давно нет, черти слопали ее, и даже Незнакомки нет, все это прежнее, «Соловьиный Сад», а трудно жить, ведь, без чего-то «по ту сторону», да еще такому поэту — Блоку. И вот явилось «человечество», и «революция». Отдаться бы им!

Как будто бы отдался. Как будто бы почувствовал трагедию полюбленного, и мелькнуло разрешение. Писал в подъеме очень сильном (поэтическом подъеме), звуки, слова, ритмы... из-под ног же земля уходила. Опереться не на что. «Музыка революции» дана, а разрешение...

Дело простое.

Чтобы Христос действительно сошел, чтобы действительно была оправдана, возведена трагедия, нужно, чтобы Блок действительно полюбил, и революцию, и Христа. Этого не было. Христос мелькнул ему, призрачный и туманный, потому что зова настоящего в нем не было — исчез. Мелькнуло и видение революции, как ложная незнакомка.

И получилось то двусмысленное, путаное, мрачное, немалое и жуткое, поэзия и смерть, где имя Христа всуе помянуто, и что есть — «Двенадцать».

* *
*

В начале Блок читал свою поэму часто. Время шло. Революция двигалась, а он стоял на одном месте, после «Двенадцати» умолк. С некоторых пор и перестал читать эту вещь. Раз, на вопрос о Христе, ответил:

— У меня Христос компилятивный.

Что этим хотел сказать, не очень ясно. Вряд ли ответил бы так тот, кто Христа живого чувствует.

Весной 1920 г. приезжал Блок в Москву. Под аккомпанимент взрывов на артиллерийских складах он читал стихи в Политехническом музее. Но «Двенадцати» не прочел. Был очень мрачен, на вопрос моей жены ответил:

— Я больше этой вещи не читаю.

Люди близкие передавали, что Блок в страшном упадке, что надорвано его здоровье, — он не пишет, окончательно во всем разуверился и едва жив. Надо сказать, что революция подорвала Блока сильно. Он таскал наверх дрова, дурно питался, холодал — в этом делил судьбу почти что всех. Но и особенный мрак над ним сгущался, независящий от дров или цынги.

Из деревни я послал ему последнюю свою книгу (печатавшуюся в самом начале революции). Получил длинное письмо, очень дружественное, от «сочувственного сердца». Поразил меня тон беспредельной грусти, разлитой в письме — и тронул. Точно он прощался, и о чем-то сожалел, недоделанном, и самом важном. Нас же ощущал как «Путников» (так называлась книга). Я помню, была фраза: «Давно мы с вами встретились, да все были врозь, не пришлось сойтись ближе, хоть и можно было бы. А теперь, кажется, уж поздно».

Победители не пишут так. Что-то пронзало, убивало. И в тоске своей вы правильно почувствовали, Александр Александрыч: поздно было уж сходиться.

* *
*

В последний раз Блок приезжал в Москву весною 1921 года. Слава его была значительна, его много читали, даже много и покупали. (В «Книжных Лавках Писателей»). Много печатали. Дошло до того, что одно из-

дательство объявило подписку на собрание детских стихов Блока (в детстве написанных).

Сколько мне помнится, эта глупость не удалась. Но, все равно, Блок считался признанным, прошедшим в публику и начинающим стареть.

Читал он в нескольких местах. Союз Писателей устроил вечер в честь его.

Союз наш — старый особняк, дом Герцена на Тверском бульваре, во дворе, в саду. Уютное и мягкое, покойное осталось в памяти от двух зал, большой, с библиотечными шкафами и диванами, колоннами у двери, и от малой, с креслами удобными, столом огромным, тоже книжными шкафами, бюстом Пушкина.

На вечер Блока собралось много народу. В первом отделении читал Чуковский, в малой зале, а потом подъехал Блок. В глубине большой залы он стоял у раскрытого в сад окна. На темной зелени яснее выступала голова знакомая, огромный лоб, рыжеватые волосы. Вокруг кольцо девиц и литераторов. Чуковский кончил. Мы позвали Блока, он вошел, все аплодировали. Но какой Блок! Что осталось в нем от прежнего пажа и юноши, поэта с отложным воротничком и белой шеей! Лицо землистое, стеклянные глаза, резко очерченные скулы, острый нос, тяжелая походка, и нескладная, угластая фигура. Он зашел в угол, и полузакрыв усталые глаза, начал читать. Сбивался, путал иногда. Но «Скифов» прочел хорошо, с мрачною силой.

И в этой вещи, и в манере чтения, и в том, как он держался, была некая отходная: поэзии своей, и самой жизни. «Вот человек», казалось, «из которого ушло живое, и с горестным достоинством поддерживает он лишь видимость».

Он был уж тяжко болен. Но, думаю, что не в одной болезни было дело. Заключалось оно в том, что не хва-

тало воздуха. Прежде тоска его хоть чем-то вуалировалась. После «Двенадцати» все было сорвано. Тьма, пустота.

В тот же приезд Блок выступал в коммунистическом Доме Печати. Там было проще, и грубее. Футуристы и имажинисты прямо закричали ему:

— Мертвец! Мертвец!

Устроили скандал, как полагается. Блок с верной свитой барышень пришел оттуда в наше Studio Italiano. Там холодно, полуживой, читал стихи об Италии — и как далеко это было от Италии!

* *
*

Он прожил после этого недолго. Страдальчески прошли последние его месяцы. Теперь он был обставлен материально уж неплохо, кажется. И разрешили ему ехать лечиться (раньше не позволяли) — было поздно. В августе на Никитской, в окне нашей Лавки Писателей появился траурный плакат: «Скончался Александр Александрович Блок. Всероссийский Союз Писателей приглашает на панихиду в церкви Николы на Песках, в 2 $^{1}/_{2}$ часа дня». Этот плакат глядел на юг, на солнце. На него с улицы печально взирали барышни московские.

В $2^{1}/_{2}$ часа дня о. Василий, в сослужении с о. Ник. Бруни, молодым священником-поэтом, отслужили панихиду в ясном, солнечном дне августовском — по «безвременно-скончавшемся» поэте.

* *
*

Так он ушел. Его уход вызвал в России очень большой отклик (заседания, собрания, статьи. Отличились

и тут имажинисты — устроили издевательские поминки, под непристойным названием). Пожалуй, Блок был любимейшим из писателей последних лет. Многие хоронили в нем часть и себя, своей души — повторяю: Блок выражал собою полосу России. Эта полоса кончалась с революцией, умирал «блокизм» — ибо ничего не мог противопоставить напору революции. «Блокизм» расплывчат и тепличен, нездоров, некрепок, и ничем активным не обладает.

Он истек «клюквенным соком» (крови настоящей не было!). Да как могло быть и иначе, когда сам его создатель сдался, повалился в «Двенадцати»?

По смерти Блока появилось множество статей, воспоминаний, книг. Неумеренные почитатели печатают теперь такое из его писаний, что пожалуй не весьма его порадовало бы. Как отнестись к этому? Заметки из записной книжки, строки, которых Блок не отдавал с а м в печать, сейчас, однако, появляются. Раз напечатаны, мы вправе обсуждать их.

И один отрывок — величайшей важности для понимания Блока. Набросок пьесы из жизни Христа («Русский Соврем.»). Может быть, Блок сам почувствовал, что нехорошо говорить об Иисусе: «ни женщина, ни мужчина», о св. Петре «дурак Симон с отвислой губой», или «все в нем (Иисусе) значительное от народа», «апостолы крали для него колосья» — все таки о н н а п и с а л. Это, скажем, не литература. Но... что же, и не Блок? Увы, именно Блок, и помечено: 1918 г. Блок эпохи «Двенадцати». Вот еще новый поворот, новый свет на загадочную поэму. Вот в к а к о м н а с т р о е н и и она создавалась. Что же, «настоящий» Христос вел «Двенадцать», или блоковский, «ни женщина, ни мужчина», у которого «все значительное от народа»? Я говорил уже, что настоящий Христос вовсе не сходил

в поэму. А теперь видно, какого Христа Блок пристегнул к своему писанью. Вот что значит-то: «компилятивный».

Так что здесь новое свидетельство о тяжком обострении давней болезни души Блока — погубившей его.

• •
•

Я чувствую, что это надо написать, и все-таки писать мне грустно. В общем, вспоминая Блока, больше вижу его молодым, мечтательным, в низком отложном воротничке, слышу его стихи, пронзающий шарм их:

Уж не мечтать о подвигах, о славе,
Все миновалось, молодость прошла.
Твое лицо, в его простой оправе,
Своей рукой убрал я со стола.

Куда бы ни зашел Блок, и чего бы ни наделал, как бы жизнь свою ни прожигал, туманил, иногда грязнил — в нем было то очарование, которое влекло сердца и женские, и мужские, та печать, что называется «избранничеством». Хотелось бы, чтоб именно такой, которому дано не скупо, выдержал бы, пришел к Истине, победил. А он не выдержал. Жизненный бой проиграл. И побежден. Что же из этого? Показан нам облик печальный, может быть, даже, трагический. И Данте находился in una selva oscura, и лишь любовь Беатриче, пославшая ему Вергилия, вывела из тьмы. Данте сам сильно любил. Ему и была дана помощь. В Блоке страстности, пылания никогда не было, и вышло так, что за него не заступилась та Прекрасная Дама, которой он изменил. Но тут уж мы подходим к тем истокам судеб, о которых не дано нам судить.

* *
*

Здесь, в Провансе, часто вспоминаю вас, Александр Александрыч. Это край, и тот пейзаж, где жил Петрарка, где старинные труверы пели, край Лауры. Все это вам близко — вам, автору «Розы и Креста».

Когда идешь, пред вечером, по гребню гор, среди душистых сосен, а внизу разостланы долины, взгорья, хвойные леса, оливковые рощи и рыжеющие весной виноградники, фермы с задумчивыми кипарисами, вдали белеющие городки с храмами древними, и дальше все нежней и шире раздвигаются холмы, и тонкий, голубеющий свет разливается над всем — когда спокойно видишь чистый и изящный край, пронизанный благословенным солнцем, когда так о д и н в горах, то... часто чувствуешь ваш облик, наш поэт. Быть может, это странно, и ненужно: кажется, показать бы вам вот этот светлый Божий мир. Дать бы глазам вашим, замученным туманами, болотами, снегами, войнами и бойнями — взглянуть в голубоватые дали Прованса, светом, и благоуханием смолистым вам омыть бы душу, как омыл лицо росой Чистилища при выходе из Ада Данте — и вы вспомнили бы о Прекрасной Даме, вырвали б, раз навсегда, слова кощунственные. Вы бы дышали Истиной, она бы оживила вас.

Но это все напрасные слова. Вас нет. Мы все — души Чистилища. Из светлого Прованса хочется послать вам ток благоволения, благожелания. На этом свете не пришлось нам сблизиться.

Domaine de la Pugette.
Пасха 1925 г.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Царицыно — дачное место под Москвой, по Курской дороге. Недостроенный дворец Екатерины, знаменитые пруды, парк вроде леса. Очень красиво. Сила зелени, произрастание, свежесть и влага. В Москве многие любили Царицыно. Были там и собственные дачи, или — кому особенно нравилось — снимали помещения из года в год у местных жителей, становились как бы летними обитателями Царицына.

— Борю Бугаева отлично помню, — говорила моя жена, в юности тоже царицынская дачница.

— Я была девочкой еще, мы жили в Воздушных садах, около дворца. Дача Бугаевых недалеко оттуда. Боря был светленький мальчик, лет двенадцати, с локонами, голубыми глазами, очень изящный. Прямо скажу даже — очаровательный мальчик. Любил рыбу удить в пруду, так и представляется мне с удочкой, на берегу — пруды там огромные. Мать у него была бледная, красивая, отец — профессор в Москве, чудаковатый какой-то. За Борей присматривала гувернантка. Потом, много позже, я встретилась с ним в Москве, он стал студентом и оказывается поэт, пишет «Симфонии», «Золото в лазури» . . . Боря Бугаев оказался Андреем Белым!

Отец «Бори Бугаева» математик, крашеный старик с разными причудами — молва о нем шла однородная, вряд ли ошибочная.

Профессора этого не приходилось встречать. Мать Белого я немного знал: блестящая женщина, но совсем иных устремлений — кажется, очень бурных. Так что Андрей Белый явился порождением противоположностей.

На московском Арбате, где мы тогда с женой жили, вижу его уже студентом, в тужурке серой с золотыми пуговицами и фуражке с синим околышем.

Особенно глаза его запомнились — не просто голубые, а лазурно-эмалевые, «небесного» цвета («Золото в лазури»!), с густейшими великолепными ресницами, как опахала оттеняли они их. Худенький, тонкий, с большим лбом и вылетающим вперед подбородком, всегда закидывая немного назад голову, по Арбату он тоже будто не ходил, а «летал». Подлинно «Котик Летаев», в ореоле нежных светлых кудрей. Котик выхоленный, барской породы.

Он только еще начинал писать. Учился на естественном факультете, печатался в «Скорпионе» (издательство), в журнале «Весы» под началом Валерия Брюсова. Считалось среди молодежи тогдашней, что он «необыкновенный» какой-то — поэт, мистик с оттенком пророчественности и символист (по другим «декадент»). Но не просто декадент, а всем обликом своим являет нечто особенное — не предвестие ли «новой религии»? Видели в нем нечто общее и с князем Мышкиным из «Идиота». Передавали, что в университете вышел с ним даже случай схожий: на студенческом собрании, в раздражении спора кто-то «заушил» его. Он подставил другую щеку.

Ранние его произведения быстро привлекли внимание — насмешливое у старших, сочувственное у молодежи. Лазурь бугаевских глаз в стихах «Золото в лазури» сияла почти ослепительно. Конечно, острей и

д у х о в н е й ощущал он свет, чем кто-либо. «Симфонии» показались необычайными и по форме — полулитература, полумузыка . . . Лес, кентавры, беклиновское нечто в «Северной». В «Драматической» синие глаза московской красавицы, Владимир Соловьев, Евангелие от Иоанна — все это неслось в туманно-музыкальном вихре.

В то время и он и Блок только еще выходили из-под плаща Соловьева — в «Симфонии» Соловьев с «брадою» своей и в крылатке, развевающейся фантастически, «шествовал» над Москвой в утренних зорях, обещавших и Белому и Блоку некие откровения, «раскрытия».

Все это оказалось призраком, мечтой, на церковном языке «прелестью». И оба оказались — по-разному — но вроде одаренных лжепророков.

Как бы, однако, об этом ни судить, что̀ бы ни говорить о Белом и Блоке в целом, юношеский образ «Бори Бугаева» оттиснут в памяти печатью романтическою — прозрачные, чистые краски в нем были тогда. И нечто певуче-летящее, с оттенком безумия.

* *
*

В публике его сразу определили чудаком, многие и смеялись. Все газеты обошло двустишие из «Золота в лазури»:

Завопил низким басом,
В небеса запустил ананасом.

Это недалеко от брюсовского:

О закрой свои бледные ноги.

Но Брюсов был расчетливый честолюбец, может быть, и сознательно шел на скандал, только чтобы прошуметь. А у Белого это — природа его. Брюсов был делец, Белый — безумец.

Читал стихи он хорошо, в тогдашней манере, но очень своеобразно, как и во всем не походил ни на кого. Некоторые считали его гениальным.

«Литературно-Художественный Кружок» в Москве, богатый клуб тогдашний, часто устраивал вечера. Особняк Востряковых на Дмитровке отлично был приспособлен — зрительный зал на шестьсот мест, библиотека в двадцать тысяч томов, читальня, ресторан хороший, игорные залы. Брюсов был одним из заправил: заведывал кухней и рестораном.

На одном таком вечере выступает Белый, уже небезызвестный молодой писатель.

Из-за кулис видна резкая горизонталь рампы с лампочками, свет прямо в глаза. За рампой, как ржаное поле с колосьями, зрители в легкой туманной полумгле. А по нашу сторону, «на этом берегу», худощавый человек в черном сюртуке, с голубыми глазами и пушистым руном вокруг головы — Андрей Белый. Он читает стихи, разыгрывает нечто и руками, отпрядывает назад, налетает на рампу — вроде как танцует. Читает — поет, заливается.

И вот стало заметно, что на ржаной ниве непорядок. Будто поднялся ветер, колосья клонятся вправо, влево — долетают странные звуки. Белый как бы и не чувствовал ничего. Чтение опьяняло его, дурманило. Во всяком случае, он двигался по восходящей воодушевления. Наконец, почти пропел приятным тенорком:

И открою я полотер-рн-ное за-ве-дение...

В ожидании же открытия плавно метнулся вбок, будто планируя с высоты — присел основательно.

Это было совсем не плохо сыграно, могло и нравиться. Но нива ощущала иначе. Там произошло нечто вне программы. Теперь уже не ветер — налетел вихрь и колосья заметались, волнами склоняясь чуть не до по-

лу. Надо сознаться: дамы помирали со смеху. Смех этот сдерживаемо-неудержимый, веселым дождем долетал и до нас, за кулисы.

«И смех толпы холодной»... — но дамский смех этот в Кружке даже не смех врагов и толпа не «холодная», а скорее благодушно-веселая. «Ну что же, он декадент, ему так и полагается».

Все-таки... — какая бы ни была, насмешка ожесточает. И лишь много позже, с годами, стало ясно, сколько горечи, раздражения, уязвленности скоплялось в том, кого одно время считали «князем Мышкиным».

• •
•

В 1906—07 гг. кучка молодежи литературной издавала в Москве журнальчик «Зори», а затем газету «Литературно-Художественная Неделя». Объединяли участников родственные черты — некое «русское» (левое) настроение, тяготение к мистицизму и христианству, надежды на зарождавшееся народоправство мирного толка (первые Думы), в литературе и искусстве модернизм умеренного оттенка и не брюсовского духа. Из петербургских молодых писателей у нас печатались Блок, Ремизов, Городецкий. Из московских — Белый.

Все это предприятие оказалось недолговечным, влияния имело мало, во многом было наивным. Все же след, светлый, в наших сердцах остался — искреннее увлечение юных лет, правда некие «Зори».

Белый дал нам статью о Леониде Андрееве. Чуть ли не в том же номере появился какой-то недружественный отзыв о Брюсове.

Брюсов, конечно, разъярился. Белый был постоянным сотрудником «Весов» брюсовских — там была

строгая дисциплина — он тоже разъярился (иначе и нельзя было). Как, он, Белый, тогда подчиненный «магу» и «пророку» с Цветного бульвара, сотрудничает у нас?

Встретив где-то П. Муратова, нашего сотоварища, сотрудника по отделу искусства, набросился на него исступленно, поносил и его и нас в выражениях полупечатных. Князь Мышкин вряд ли одобрил бы их.

Муратов, вне себя, прибежал ко мне.

— Он всех нас позорит, оскорбляет . . .

А одновременно появилась и статья Белого в «Весах» против нас, совсем исступленная. Видно было, в каком он запале.

Нетрудно себе представить, что — при нервности и обидчивости юных литераторов — из этого получилось. Собрались у меня, решили отправить Белому ультиматум.

Написал его я, в тоне резком, совершенно вызывающем. Белого приглашали объясняться. Если он не возьмет назад оскорбительных выражений, то «мы прекращаем с ним всякие как личные, так и литературные отношения». Назначалось свидание в редакции, на квартире В. И. Стражева.

Труднее всего приходилось тут мне. Я был ближе других к Белому лично. Он просто мне нравился — изяществом, своеобразием, даже полоумием своим. Я считал его и большим поэтом, в спорах всегда и со страстью защищал его. Он со мной тоже был чрезвычайно приветлив и ласков. И вдруг — именно он . . . Если бы не Белый, было бы легче, можно бы не обращать внимания. Но он! За нехвалебный отзыв о Брюсове! Нет, и горестно, но и спустить нельзя.

В назначеное время собрались в кабинете поэта

Стражева: кроме хозяина, Б. А. Грифцов, П. П. Муратов, Ал. Койранский, поэт Муни и я.

Звонок. Появляется Белый — в пальто, в руках шляпа, очень бледный. Мы слегка ему кланяемся, он также. Останавливается в дверях, обводит всех острым взглядом (глаза бегают довольно быстро).

— Где я? Среди литераторов или в полицейском участке?

Можно было любить или не любить нас, но на полицейских мы не походили.

Первая же фраза задала тон. Трудно было бы сказать, про свидание это, что «переговоры протекали в атмосфере сердечности и взаимного понимания».

— В таком тоне мы разговаривать не намерены. Или возьмите оскорбления назад, или же мы расходимся.

Сражение началось. Белый в тот день был весьма живописен и многоречив — кипел и клубился весь, вращался, отпрядывал, наскакивал, на бледном лице глаза в оттенении ресниц тоже метались, видно он «разил» нас «молниями» взоров. Конечно, был глубоко уязвлен моим письмом.

— Почему со мной не переговорили? Я же сотрудник, я честный литератор! Я человек. Вы не мое начальство. Я мог объясниться, это недоразумение. А меня чуть не на дуэль вызывают . . .

Я не уступал.

— Мы только тогда начнем с вами разговаривать, когда вы возьмете назад слова о нашем сотоварище и о нас.

Он кричал, что это возмутительно. Я не подавался ни на шаг. Наконец, Белый вылетел в переднюю, я за ним. Тут вдвоем у окна мы разыграли заключительную сцену, вполне достойную кисти Айвазовского.

Мы пожимали друг другу руки и уверяли, что «лич-

но» по-прежнему друг друга «любим», в литературной же плоскости «разошлись» и не можем, конечно, встречаться, но «в глубине души ничто не изменилось». У обоих на глазах при этом слезы.

Комедия развернулась по всем правилам. Мы расстались «друго-врагами» и долго не встречались, как будто даже раззнакомились. (Издали, после страшных прожитых лет, это кажется смешными пустяками. Но тогда переживалось всерьез).

И уже много позже, в светлой, теплой зале Эрмитажа Петербургского, около Луки Кранаха случайно столкнулись — нос с носом. Прежние глупости растаяли. Белый засиял своей очаровательной улыбкой, чуть мне в объятия не кинулся. В ту минуту зимнего неверного дня, рядом с великой живописью так, вероятно, и чувствовалось. Неправильно было бы думать, однако, что на зыбком песке можно что-нибудь строить. Нынче мог Белому человек казаться приятным, завтра — врагом.

Весь он был клубок чувств, нервов, фантазий, пристрастий, вечно подверженный магнитным бурям, всевозможнейшим токам и разные радио-волны на разное его направляли. Сопротивляемости в нем вообще не было. Отсюда одержимость, «пунктики», иногда его преследовавшие.

Одно время это были «издатели». Все зло от издателей. У них тайный союз, чтобы погубить русскую литературу. Их союзником оказался Георгий Чулков. Белому представлялся он мистическим персонажем, как таинственная птица проносившемся над Россией, воплощавшем в себе... не помню уже что, но весьма не украшавшее. Много сердился тогда этот левый человек, тут в согласии с Пуришкевичем, и на евреев.

Не знаю, была ли у него настоящая мания преследо-

вания, но вблизи нее он находился. Гораздо позже я узнал, что в 14 году, перед войной, ему привиделось нечто на могиле Ницше, в Германии, как бы лжевидение, и он серьезно психически заболел (книга Мочульского).

* *
*

Вблизи Спасских ворот, наискосок вниз от памятника Александру II, была в Кремле церковка Константина и Елены. Она стояла уединенно, как-то интимно и поэтически, близ Москва-реки и стены, в осенении деревьев — к ней и добраться не так просто.

Одну пасхальную заутреню встречали мы в ней с Андреем Белым (уже после примирения). Ночь была сырая и туманная, палили пушки, толпа в Кремле, иллюминация — Иван Великий высвечивает золотым бисером, гудят «сорок сороков» торжественным, веселым гулом.

Белый был очень мил, даже почти трогателен — мы христосовались, побродили в толпе, а потом отправились к общему нашему приятелю С. А. Соколову («Грифу», поэту, издателю раннего Блока), разговляться.

Легко можно себе представить, что такое были розговены в Москве довоенной, даже не в Замоскворечье, а в доме литературно-интеллигентском: пасхи, куличи, окорока, цветные яйца, возлияния — все в размерах внушительных, в духе того веселого беспорядка, мирной сытости, что вообще уже стало легендой, а тогда стояло на краю пропасти.

У Грифа квартира была небольшая. В длинной и узкой столовой, за пасхальным столом все мы и разместились — литературная молодежь того времени. На

одном конце стола Гриф, на другом жена его, артистка Лидия Рындина. Христосовались, смеялись, ели, пили. В середине, напротив меня, сидел Белый, за ним гладкая стена.

Сначала все шло отлично. Хозяева угощали, пили за гостей, мы поздравляли друг друга, уплетали пасху, куличи... Но в некий момент тон изменился. Белого стал задирать Александр Койранский — критик, художник, острослов — всегда он Белого не весьма чтил, а тут и вино поддержало. Белый начал волноваться, по русскому обыкновению разговор скакнул с пустяков к серьезному. Смысл бытия, назначение поэта, дело его... Койранский подзуживал, разговор обострился.

И вот Белый впал в исступление. Он вскочил, начал некую речь — исповедь-поэму:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел,
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.

Последняя строчка стихотворения этого (ему принадлежащего) и была, собственно, главным звуком выступления. Тут уже и Койранский и все мы умолкли. Белый прекрасно, с трагической силой и пронзительностью изображал горечь, незадачливость и одиночество жизни своей. Непонимание, его окружавшее, смех, часто сопровождавший —

Не смейтесь над мертвым поэтом,
Снесите ему венок.
На кресте и зимой и летом
Мой фарфоровый бьется венок.

. . . .

Пожалейте, придите;
Навстречу венком метнусь.
О, любите меня, полюбите,

Я быть может не умер, быть может проснусь,
Вернусь . . .

Да, то же рыдательное, что и в лучших его стихах — будто сложная и богатая, на горестную сумятицу и неразбериху обреченная душа томилась перед нами. Что странней всего: в Святую ночь! Когда особенно дано человеку почувствовать себя в потоке мировой любви, единения братского. А он как раз тосковал в одиночестве. Пустой вихрь жизни, раны болят, — но пустынность внутренняя вообще была ему свойственна. Нечто нечеловеческое было в этом удивительном существе. И кого сам-то он любил? Кажется, никого. А груз чудачества, монструозности утомлял.

Фигура его металась на фоне стены, правда, как надгробный венок в ветре. Вдруг он раскинул руки крестом, прижался к стене спиной, совсем побледнел, воскликнул:

— Я распят! Я в жизни распят! Вот мой путь . . . Все радуются, а я распят . . .

Расходились поздно, туманным утром. Быть может, Александр Койранский и не так был доволен, что распалил Белого.

• •
•

Большая публика не принимала его, но восторженные поклонники у него были. Позже примкнул он к антропософскому движению — приобрел и там верных почитателей.

В те предвоенные годы вышли книги его стихов «Пепел» и «Урна». Как и «Золото в лазури» это, пожалуй, лучшее, что он написал. Некоторые звуки его стихотворений и теперь пронзают и будут пронзать. (Одно было посвящено мне: «Века текут . . .» но в поздней-

шем берлинском издании Гржебина он это посвящение снял, несмотря на встречу в Эрмитаже).

Дал и романы: «Серебряный голубь» — детская и лубочная вещь, и «Петербург» — безвоздушная фантасмагория. Много кипел, выступал, ссорился, ожесточался. Имя его приобрело известность, но довольно странную. Во вском случае, боевую.

Вот небольшой образец этой «боевой» его деятельности.

Читает он в Литературно-Художественном Кружке. Начинаются прения, выступает среди других некий беллетрист Тищенко, тем известный, что Лев Толстой объявил его лучшим современным писателем. Этот Тищенко был человек довольно невидный, неврачный, невоинственный. Как вышло, что он разволновал Белого, не знаю. Но спор на эстраде, перед сотнями слушателей, так обернулся, что Белый вдруг взвился и «возопиял»:

— Я оскорблю вас действием!

К нам, заседавшим наверху, в ресторане Кружка, известие это дошло вроде того, как в деревне передают, что загорелась рига.

— Борис, Борис, скорей, там скандал!

Бросились тушить. Но было уже поздно. Из-за кулис во-время задернули занавес, отделив публику (Белым возмущенную) от эстрады. Зал кипел, бурлил. «Безобразие!» «Еще поэтами называются» . . .

На большой лестнице картина: спускается Андрей Белый, в полуобморочном состоянии. Кругом шум, гам. Бердяев и моя жена поддерживают его под руки, он поник весь, едва передвигает ноги. Одним словом Пьеро, и сейчас, как в «Балаганчике», из него потечет клюквенный сок.

Внизу его одели и увезли. Завтра дуэль. Вернулись

мы из Кружка на рассвете, условившись с Сергеем Соколовым утром быть уже у Белого — секунданты не секунданты, а вроде того.

Часов в десять явились к нему в Денежный (близ Арбата, мы все жили в тех краях). Белый был действительно совсем белый, почти в истерике, не раздевался, не ложился, всю ночь бегал по кабинету.

Высокая, великолепная его мать спокойнее, чем мы и «Боря», отнеслась к происшествию. И оказалась права. Излившись перед нами как следует, Белый признал, что вчера перехватил.

Приблизительно говорилось так:

— Тищенко — ничего! Это не Тищенко. Тищенко никакого нет, это личина, маска... (Степун в блестящей статье о Белом называет самого Белого «недовоплощенным фантомом» и как бы сомневается в существовании его, как человека).

— Я не хотел его оскорблять. Тищенко даже симпатичный... но сквозь его черты мне просвечивает другое, вы понимаете... сила хаоса, темная сила, вы понимаете... (Белый закидывает назад голову, глаза его расширяются, он как-то клокочет горлом, издает звуки вроде м-м-м... — будто вот они, вокруг, эти силы). Враги воспользовались безобидным Тищенкой... он безобидный. Карманный человек, милый карлик, да я даже люблю Тищенку, он скромный... Тищенко хороший.

Одним словом, окажись тут под рукой Тищенко, Белый кинулся бы его целовать, плакал бы на его груди. А через час мог опять возненавидеть, объявить носителем мирового зла.

По нашему настоянию Белый написал письмо-извинение, Соколов и передал его куда надо. До свинца дело не дошло. А о скандале... поговорили и забыли.

* *
*

В самые страшные годы России вспоминается Белый более мирно.

Как будто ни с кем не ссорился. Увлекался антропософией, в Петербурге выступал в «Вольфиле», в Москве жил одно время во «Дворце искусств».

Этот «Дворец» — дом гр. Соллогуба на Поварской, у Кудринской площади. Старый дом прославлен «Войной и миром». Там, где Наташа носилась резвыми своими ножками, поселился поэт Рукавишников — его избрал главой «дворца» Луначарский. Во «дворце» читались какие-то лекции, выступали товарищи, кажется, была и столовая, кое-кто поселился. Среди них — Белый, куда и позвал меня к себе в гости.

Он всегда был, с ранних лет, левого устремления. Что-то в революции ему давно нравилось. Он ее предчувствовал, ждал. Когда она пришла, о ч е н ь многое в ней принял. В те годы (20—21), всего был ближе к левым эсерам, разным «Скифам» (как и Блок). Белый не так страдал морально от революции, как мы, и уживался с нею лучше. Все же антропософия уводила его в сторону. Духовные начала движения этого уж очень мало подходили к уровню «революционной мысли», к калмыцкому облику Ленина.

Не без волнения шел я, в сумерках зимнего дня, по старым, благородным залам, комнатам, коридорам и закоулкам соллогубовского дома. Он построен «покоем» с боковыми крыльями, обнимающими просторный двор (подводы с вещами Ростовых, бегущих от Наполеона... Раненый князь Андрей в коляске своей... Великая слава России).

В больших окнах, до полу, мелькнул этот двор. Из залы можно было выйти на балкон перед колоннами, — а там дальше опять плакаты с расписанием лекций.

Белый встретил меня очень приветливо, где-то вдали, в своей комнате, выходившей окнами в сад. Он был в ермолочке, с полуседыми из-под нее «клочковатостями» волос, такой же изящный, танцующий, приседающий.

Комната в книгах, рукописях — все в беспорядке, конечно. Почему-то стояла в ней и черная доска, как в классе.

...Не то Фауст, не то алхимик, не то астролог. Очень скоро, конечно, разговор перешел на антропософию, на революцию. Может быть, с «убийцей Мирбаха» он говорил бы иначе, но со мной стал почти на мою позицию — тут помогала ему и его антропософия.

Теперь и доска оказалась полезной. Он на ней быстро расчертил разные круги, спирали, завитушки. Мир, циклы истории поспешно располагались по волютам спирали. Он объяснял долго и вдохновенно — во всяком случае, это было редкостно, менее всего заурядно, почти увлекательно. Белый вообще был отличный оратор-импровизатор, полный образности и красок. Но постройкой не владел — вообще всегда *им* что-то владело, а не *он* владел.

Разумеется, понял я четверть, может быть — треть, самое большее. Астролог же и эуритмик вытанцевывал неутомимо и убедительно. Надо даже сказать, что в соллогубовском этом доме не было в нем обычного исступления. Скорее фантастика успокаивающая. Снег синел в саду, скоро спустится зимняя московская ночь. Граждане выйдут воровать заборы. Иногда слышны будут выстрелы. Глаза Белого сияют, он откидывается

назад, взор соколиный, в горле радостное клокотание м-м-м... На слушателя это хорошо действует.

— Видите? Нижняя точка спирали? Это мы с вами сейчас. Это нынешний момент революции. Ниже не спустится. Спираль идет кверху и вширь, нас выносит уже из ада на простор.

Спираль долго еще выносила Россию на простор — море детских и юношеских гробов, море концлагерей, сотни тысяч погибших, раскулаченных... но мы с Белым в тот вечер искренне думали, что вот уже кончается Голгофа: наверно потому, что хотели этого. Спираль же украшала желание.

• •
•

В 1921 году отъезд Белого за границу, прощальный вечер у нас в Союзе писателей на Тверском бульваре, в Доме Герцена. Некая нелепость ранней полосы революции: правительство дало нам особняк, мы устроились там довольно основательно, коммунистов же в Союз никаких не принимали. Ни одного коммуниста у нас не было.

В напутственном слове Белому можно было еще сказать:

— Дорогой Борис Николаевич, передайте эмиграции, что литература в России жива...

Много прошло лет, а и сейчас чувствую, как спазма сдавила мне горло, надо было сделать усилие над собой, чтобы докончить:

— И никогда... никому... ни за что не уступит своей свободы.

Говорил я от лица Союза, как его председатель. Белый сидел за столом напротив меня — в зале стало мертвенно тихо. Прекрасные его глаза расширились,

весь он напрягался, что-то пролетело, метнулось, будто живая птицеобразная душа без слов сказалась. А потом он вскочил.

— Да, скажу, скажу...

В ту минуту, быть может, так и думал. Но сомнения нет, что сев в вагон, все сразу же и забыл.

Через год встретились мы уже в Берлине, для нас в «новой жизни», для него это был эпизод: скоро возвратился он в Россию.

Берлинская его жизнь оказалась вполне неудачной. Берлин как бы огрубил его. По всему облику Белого прошло именно с е р о е, берлински-будничное, от колбасников и пивнушек, где стал он завсегдатаем. Лысинка разрослась, руно волос по вискам поседело и поредело, к концу он несколько и обрюзг, от эмалевой бирюзы арбатских глаз, глаз его молодости, мало что сохранилось. Они сильно выцвели, да и выражение стало иное. Он походил теперь на незадачливого, выпивающего — не то изобретателя, не то профессора без кафедры. Характер сделался еще труднее. С одной стороны — был он антропософом и в этом направлении даже переделал (очень неудачно) свои прежние стихи, вышедшие в Берлине, строил даже в Дорнахе антропософский храм, Гетеанум. Потом вдруг накинулся на Рудольфа Штейнера с яростью:

— Я его разоблачу! Я его выведу на свежую воду!

И вот из Берлина, являвшегося ему обликом мучительной пустоты, решил опять бежать в Россию. (И опять я согласен со Степуном: что он любил собственно? Россия для него такой же призрак, как и все вообще).

Его пустили.

На прощанье жена моя повесила ему на грудь образок Богоматери и сказала:

— Не снимай, Борис. И помни: будешь в Москве, поклонись ей, и Родине нашей поклонись. И не вешай на нас, на эмиграцию, всех собак!

Он помахивал лысо-седой головой, бормотал:

— Да, я поклонюсь. Да, Вера, я не буду вешать на вас собак! Я уважаю берлинских друзей. Даже люблю их. Я буду держать себя прилично.

Он уехал в Россию в плохом виде, в настроении тягостном. Не знаю точно, что говорил там об эмиграции, о «берлинских друзьях» (с одним из которых, Ходасевичем, успел поссориться еще в Берлине, на прощальном обеде в русском ресторане). Кажется, говорил, что полагается. Обвинять его за это тоже нельзя. Есть, пить надо. И в концлагерь мало кому хочется.

Но в России революционной все же не преуспел. Видимо, оказался слишком диковинным и монструозным.

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел . . .

Да, в Крыму, в Коктебеле. Жарился на солнце, настиг его солнечный удар.

И лишь в самое последнее время дошла до меня весть, что на пораженном «солнечными стрелами» нашли тот образок, который Вера повесила ему на грудь в Берлине.

Богоматерь как бы не покинула его — горестного, мятущегося, всю жизнь искавшего пристани.

1938—1963.

БАЛЬМОНТ

В поэзии серебряного века место Бальмонта немалое, вернее — большое. Я не собираюсь давать здесь облик его литературный. Всего несколько беглых черточек из далеких времен его молодости, расцвета.

* *
*

1902 год. В Москве только что основался «Литературный Кружок» — клуб писателей, поэтов, журналистов. Помещение довольно скромное, в Козицком переулке, близ Тверской. (Позже — роскошный особняк Востряковых, на Большой Дмитровке).

В то время во главе Кружка находился доктор Баженов, известный в Москве врач, эстет, отчасти сноб, любитель литературы. Немолодой, но тяготел к искусству «новому», тогда только что появившемуся (веянье Запада: символизм, «декадентство», импрессионизм). Появились на горизонте и Уайльд, Метерлинк, Ибсен. Из своих — Бальмонт, Брюсов.

Первая встреча с Бальмонтом именно в этом Кружке. Он читал об Уайльде. Слегка рыжеватый, с живыми быстрыми глазами, высоко поднятой головой, высокие прямые воротнички (de l'époque), бородка клинушком, вид боевой. (Портрет Серова отлично его передает). Нечто задорное, готовое всегда вскипеть, ответить рез-

костью или восторженно. Если с птицами сравнивать, то это великолепный шантеклэр, приветствующий день, свет, жизнь. («Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...»).

Читал он об Уайльде живо, даже страстно, несколько вызывающе: над высокими воротничками высокомерно возносил голову; попробуй противоречить мне!

В зале было два слоя: молодые и старые («обыватели», как мы их называли). Молодые сочувствовали, зубные врачи, пожилые дамы и учителя гимназий не одобряли. Но ничего бурного не произошло. «Мы», литературная богема того времени, аплодировали, противники шипели. Молодая дама с лицом лисички, стройная и высокая, с красавицей своей подругой яростно одобряли, я, конечно, тоже. Юноша с коком на лбу, спускавшимся до бровей, вскочил на эстраду и крикнул оттуда нечто за Уайльда. Бальмонт вскипал, противникам возражал надменно, остро и метко, друзьям приветливо кланялся. Тут мы и познакомились. И оказалось, что по Москве почти соседи: мы с женой жили в Спасо-Песковском вблизи Арбата, Бальмонт в Толстовском переулке, под прямым углом к нашему Спасо-Песковскому. Совсем близко.

Это было время начинавшейся славы Бальмонта. Первые его книжки стихов «В безбрежности», «Тишина», «Под северным небом» были еще меланхолической «пробой пера». Но «Будем как солнце», «Только любовь» — Бальмонт в цвете силы. Жил он тогда еще вместе с женою своей, Екатериной Алексеевной, женщиной изящной, прохладной и благородной, высоко культурной и не без властности. Их квартира в четвертом этаже дома в Толстовском была делом рук Екатерины Алексеевны, как и образ жизни их тоже во многом ею направлялся. Бальмонт при всей разбросанности

своей, бурности и склонности к эксцессам, находился еще в верных, любящих и здоровых руках и дома вел жизнь даже просто трудовую: кроме собственных стихов много переводил — Шелли, Эдгара По. По утрам упорно сидел за письменным столом. Вечерами иногда сбегал и пропадал где-то с литературными своими друзьями из «Весов» (модернистский журнал тогдашний в Москве). Издатель его С. А. Поляков, переводчик Гамсуна, был богатый человек, мог хорошо угощать в «Метрополе» и других местах. (На бальмонтовском языке он назывался «нежный как мимоза Поляков»).

После нежного как мимоза Полякова Бальмонт возвращался домой не без нагрузки, случалось и на заре. Но был еще сравнительно молод, по натуре очень здоров, крепок. И в своем Толстовском усердно засаживался за стихи, за Шелли.

В это время бывал уже у нас запросто. Ему нравилась, видимо, шумная и веселая молодежь, толпившаяся вокруг жены моей — нравилось, конечно, и то, что его особенно ценила женская половина (после «Будем как Солнце» появился целый разряд барышень и юных дам «бальмонтисток» — разные Зиночки, Любы, Катеньки беспрестанно толклись у нас, восхищались Бальмонтом. Он, конечно, распускал паруса и блаженно плыл по ветру).

Из некоторых окон его квартиры видны были окна нашей, выходившие во двор.

Однажды, изогнув голову по бальмонтовски, несколько ввысь и вбок, Бальмонт сказал жене моей:

— Вера, хотите, поэт придет к вам, минуя скучные земные тропы, прямо от себя, в комнату Бориса, по воздуху?

Он уже однажды, еще до Екатерины Алексеевны, попробовал такие «воздушные пути»: «вышел», после

какой-то сердечной ссоры, прямо из окна. Как не раскроил себе черепа, неведомо, но ногу повредил серьезно и потом всю жизнь ходил несколько припадая на нее. Но и это тотчас обратил в поэзию.

«И семь воздушных ступеней
Моих надежд не оправдали».

Слава Богу, в Толстовском не осуществил намерения. Продолжал заходить к нам скучными земными тропами, по тротуару своего переулка, сворачивал в наш Спасо-Песковский, мимо церкви.

Раз пришел в час завтрака и застал меня одного. Я был студентом, скромно ел суп с вареной говядиной, изготовленный верною Матрешей.

Позвонили. Матреша кинулась отворять, потом вскочила ко мне в столовую, почесала пальцем в волосах, испуганно тряхнула огромной медной серьгой в ухе, сказала озабоченно:

— Вас спрашиваюты. Энтот рыжий, что у нас читает. Да сегодня строгий какой... Будто и не очень в себе они...

Бальмонт вошел, сразу заметно стало, что он не совсем «в себе». Вероятно, нынче не успел хорошенько отойти от угощений нежного как мимоза Полякова.

Был несколько и мрачен — Матреша права: «строг». Бальмонтисток никого не оказалось, вина тоже. Я налил ему тарелку супу с отличной говядиной.

— Где Вера? Люба Рыбакова?

Тон такой, будто я виноват в чем-то.

— Их нет.

— Вы один едите этот ничтожный суп?

— Суп неплохой, Константин Дмитриевич. Попробуйте. Матреша хорошо готовит.

Бальмонт сумрачно воткнул вилку в говядину, вынул кусок и стал водить им по скатерти. Нельзя сказать, чтобы жирные узоры украсили ее.

— Я хочу, чтобы вы читали мне вслух Верхарна. Надеюсь, у вас есть он?

Верхарн был тогда очень в моде. Бальмонт сказал внушительно. К счастью, под рукой как раз оказался томик стихов Верхарна. Если бы не было, возможно, он сказал бы мне колкость. («Поэт не думал, что в доме начинающего писателя нет моего бельгийского собрата...» — нечто в этом роде. Себя он нередко называл в третьем лице, как и все его поклонницы).

Я начал читать — и читал очень плохо. Частью стеснялся, по молодости лет, главное же потому, что вообще мало знал французский язык — хотя Верхарна как раз читал.

Продолжая путешествие по скатерти, Бальмонт спросил:

— Вы понимаете, то, что читаете? Мне кажется, что нет...

Я все-таки протестовал. Понимать-то понимал, но читать вслух — другое дело.

Бальмонт недолго просидел у меня. Ушел явно недовольный.

• •
•

Но бывал он и совсем другой. К нам заходил иногда пред вечером, тихий, даже грустный. Читал свои стихи. Несмотря на присутствие поклонниц держался просто — никакого театра. Стихи его очень тогда до нас доходили. Память об этих недолгих посещениях, чтениях осталась вот как надолго — хорошее воспоминание: под знаком поэзии, иногда даже растроганности.

Помню, в один зеленовато-сиреневый вечер, вернее, в сумерки пришел он к нам в эту Арбатскую квартиру в настроении особо лирическом. Вынул книжку — в боковом кармане у него всегда были запасные стихи.

Нас было трое кроме него: жена моя, ее подруга Люба Рыбакова и я.

Бальмонт окинул нас задумчивым взглядом, в нем не было никакого вызова, сказал негромко:

— Я прочту вам нечто из нового моего.

Что именно, какие стихотворения он читал — не помню. Но отлично помню и даже сейчас чувствую то волнение поэтическое, которое и из него самого изливалось и из стихов его, и на юные души наши, как на светочувствительные пленки ложилось трепетом. Кажется, это было из книги (еще не вышедшей тогда) «Только любовь».

На некоторых нежных и задумчивых строфах у него самого дрогнул голос, обычно смелый и даже надменный, ныне растроганный. Что говорить, у всех четверых глаза были влажны.

В конце он вдруг выпрямился, поднял голову, и обычным бальмонтовским тоном заключил (из более ранней книги):

«Я в этот мир пришел
«Чтоб видеть Солнце,
«А если Свет погас,
«Я буду петь, я буду петь
о Солнце
«В предсмертный час».

* *
*

Случалось и опять по иному. Вот появляется он днем, часа в четыре, с Максом Волошиным (огромная шляпа, широченная лента на пенснэ, бархатная куртка — только что приехал из Парижа. Полон самоновейшими поэтами французскими, посетитель кафе Closerie de Lilas и т. п.). Бальмонт в мажоре, как бы «заявляет», что будет читать стихи. У нас состав прежний — хозяева и неизменная красавица Люба Рыбакова («Милой Любе Рыбаковой, вечно юной, вечно новой...» — в альбом от Бальмонта).

На этот раз он победоносно-капризен и властен.

— Поэт желал бы читать свои произведения не в этой будничности, но среди рощ и пальм Таити или Полинезии.

— Но откуда же нам взять рощи и пальмы, Бальмонт?

Он осматривает нехитрую обстановку нашей столовой.

— Мечта поможет нам. За мной!

И подходит к большому, старому обеденному столу.

—Макс, Вера, Люба, Борис, мы расположимся под кровлей этого ветерана, создадим еще лучшие, чем в действительности пальмы.

И он ловко нырнул под стол. Волошину было труднее, он и тогда склонен был к тучности, дамы проскочили со смехом, по детски. Но «Борис» не пошел.

Вскоре из пальмовой рощи Спасо-Песковского раздались протяжные «нежно-напевные» и «певуче-узывчивые» строфы его стихов.

Я не запомнил, что он оттуда читал. Но что Я не полез в эти рощи, ОН запомнил.

Много лет спустя, уже в эмиграции, сказал вдруг мне, с кривой, несколько вызывающей усмешкой, в которой была и обида.

— Однако, некогда в Спасо-Песковском гордый поляк не пожелал слушать Бальмонта в дебрях Полинезии.

(Он нередко называл меня поляком, находя нечто польское в облике).

* *
*

Бальмонт был, конечно, настоящий поэт и один из «зачинателей» серебряного века. Бурному литературному кипению предвоенному многими чертами своими соответствовал — новизной, блеском, задором, певучестью.

Но потом времена изменились. Все эти чтения, детские чудачества, «бальмонтизм» и бальмонтистки кончились — наступили суровые, страшные годы войн, революций. Не до Бальмонта. Он отошел, и до сих пор полузабыт. Написал очень много. Некий пламень двух-трех книг его возгорится. Надо думать, придет это с Родины.

В 1920 году мы провожали Бальмонта заграницу. Мрачный как скалы Балтрушайтис, верный друг его, тогда бывший литовским посланником в Москве, устроил ему выезд законный — и спас его этим. Бальмонт нищенствовал и голодал в леденевшей Москве, на себе таскал дровишки из разобранного забора, как и все мы, питался проклятой «пшенкой» без сахару и масла. При его вольнолюбии и страстности непременно надерзил бы какой-нибудь «особе . . .» — мало ли чем это могло кончиться.

Но, слава Богу, осенним утром, в Николо-Песковском (недалеко от нас). мы — несколько литераторов и дам — прощально махали Бальмонту с присными его, уезжавшему на вокзал в открытом грузовике литовского посольства. Бальмонт стоя махал нам ответно шляпой: это были уже не рощи Полинезии, не ребячьи выдумки, а тяжелая, горестная жизнь.

Этим ранний Бальмонт и кончается. Эмиграция прошла для него уже под знаком упадка. Как поэт он вперед не шел, хотя писал очень много. Скорее слабел — лучшие его вещи написаны в России. Продолжалась и тут бурная жизнь, расшатывавшая здоровье. Да и возраст не тот. Он горестно угасал и скончался в 1942 году под Парижем в местечке Noisy-le-Grand, в бедности и заброшенности, после долгого пребывания в клинике, откуда вышел уже полуживым.

Но вот черта: этот, казалось бы, язычески поклонявшийся жизни, утехам ее и блескам человек, исповедуясь пред кончиной, произвел на священника глубокое впечатление искренностью и силой покаяния — считал себя неисправимым грешником, которого нельзя простить.

Некогда, на заре нашей литературы другой поэт, тоже великий жизнелюбец, написал стихи, над которыми позже плакал Лев Толстой:

«И с отвращением читая жизнь мою,
«Я трепещу и проклинаю,
«И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
«Но строк печальных не смываю».

Казалось бы, Пушкин мало подходящ для покаяния, и написал это до дуэли, до трагедии своей, когда на смертном одре, как и Бальмонт, священнику «плакася горько».

Все христианство, все Евангелие как раз говорит, что ко грешникам, которые последними, недостойными себя считают, особо милостив Господь.

Верю, твердо надеюсь, что так же милостив будет Он и к усопшему поэту русскому Константину Бальмонту.

1963.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Ранняя молодость, небольшая квартира в Спасо-Песковском на Арбате.

Вечер. Сижу за самоваром один, жена куда-то ушла. В передней звонок. Отворяю, застегивая студенческую тужурку. Пришел Вячеслав Иванов с дамой, очень пестро и ярко одетой. Сам он высокий, мягко-кудреватый, голубые глаза, несколько воспаленный цвет кожи на щеках. Светлая бородка. Общее впечатление: мягкости, влажности и какой-то кругловатости. Дама — его жена, поэтесса Зиновьева-Аннибал.

Смущенно и робко приветствую их — как мило со стороны старшего, уже известного поэта зайти к начинающему писателю, еще колеблющемуся, еще все на волоске... Учишься в Университете, только что начал печататься, выйдет из тебя что-нибудь или не выйдет все еще впереди: 1905-й год!

Вячеслава Иванова знал я тогда очень мало, где-то бегло встречались, не у Чулкова ли, моего приятеля, «мистического анархиста?» Оба они принадлежали тогда к течению символизма, но и с особым подразделением — «мистического анархизма» (и оба кончили христианством: Чулков православием, Иванов принял католичество).

Гость оставляет несколько старомодную крылатку и шляпу в прихожей, мы усаживаемся за самоваром — два странных гостя мои сидят в начинающихся сумерках — соединение именно некоей старомодности с самым передовым, по теперешнему «авангардным» в искусстве. Я угощаю чем могу (чаем с притыкинским вареньем). Но тут дело не в угощении. Вячеслав Иванович из всякого стакана чая с куском сахара мог — и устраивал — некий симпозион. Да, было нечто пышно-пиршественное в его беседе, он говорить любил, сложно, длинно и великолепно: другого такого собеседника не встречал я никогда. Словоохотливых, а то и болтунов — сколько угодно. Вячеслав же Иванов никогда не был скучен или утомителен, всегда с в о е, и новое, и острое. Особенно любил и понимал античность. Древне-греческие религии, разные Дионисы, философии того времени, вот где он как дома. Если уж говорить о родственности, то этот уроженец подмосковья (был он родом, если не ошибаюсь, из Каширского уезда) — вот он-то и оказался пра-правнуком платоновых диалогов.

У меня, в сумерках арбатской комнаты, сейчас же начал на тему, более чем скромную: только что вышел в молодом журнале петербургском «Вопросы Жизни» мой рассказ небольшой «Священник Кронид». Рассказ импрессионистический, быстрого темпа, но все дело для Вячеслава Ивановича в имени, названии. Как только наскочил он на имя Кронид, так и понесся: тут и Юпитер, Зевс, громовержец и творец — утвердитель стихий, земной жизни, природы, радости бытия здешнего и мощи . . . Такое, о чем я и в помыслах не имел, воспевая кряжистого и здоровенного Кронида, у которого пять сыновей, тоже здоровенных, священника благообразного, но и хозяина, отчасти даже помещика.

Нечего скрывать: ни о каких символизмах, ни о какой античности и возношении земной силы я не думал, когда писал эту нехитрую деревенскую поэмку (в прозе). Во всяком случае тогда, у себя за чаем, в своей студенческой тужурке, робко поддакивал известному поэту.

Кажется, подошла потом моя жена, заговорила оживленно с многоцветной Зиновьевой-Аннибал. Но остановить Вячеслава Иванова было трудно, и начав с моего Кронида он прочел нам целую лекцию — да какую! Так вот и превратился скромный арбатский вечер в небогатой студенческой квартирке в настоящий словесный пир. Но, конечно, на симпозионе этом говорил он один. И слава Богу! Куда нам за ним угнаться.

• •
•

Жизнь же шла. Это был предвоенный предгибельный расцвет символизма, импрессионизма — немало до революции было «измов» в литературе и сама литература кипела. По разному можно относиться к ней, но дух Мачтетов и Баранцевичей, провинцию восьмидесятых и девяностых годов она погребла бесповоротно.

Лишь немногие чувствовали (Блок, Белый), что кипение это предсмертное. Думал ли кто о грядущем убожестве «социалистического реализма», не знаю. Я ни о чем не думал и ни от кого опасений не слыхал. А жили мы тогда литературою во всю.

Часто ездили с женой в Петербург. Там останавливались у Георгия Чулкова. Вячеслав Иванов был тогда как раз соратником его по «мистическому анархизму».

Были у него и «соборность», и разные другие превыспренности. Писал стихи — громкозвучные, тяжеловесные и в одеждах изукрашенных пышно. Вспоми-

нается нечто вроде парчи, в словаре — славянизмы и торжественность почти высокопарная. Нельзя сказать, чтобы стихи его тогдашние особенно прельщали. Обаяния непосредственного было в них маловато, но родитель их стоял высоко, на скале. Это не Игорь Северянин для восторженных барышень. Вячеслав Иванов был вообще для мужчин.

Он и считался больше водителем, учителем. Жил тогда в Петербурге, в квартире на верхнем этаже дома в центре города. В квартире этой был какой-то выступ наружу, вроде фонаря, но конечно, по тогдашней моде на «особенное» считалось, что он живет «в башне», а сам он «мэтр« (сколько этих мэтров «невысокого роста» приходилось видеть потом в жизни! Но это звонко, шикарно, и для невзыскательного уха звучит торжественно. Что поделать! В Москве Брюсов считался «магом» — этот маг заведывал отделом кухни в Литер. Кружке). Такое было время. «Я люблю пышные декадентские наименования», говорил мне один приятель литературный в Москве.

Сло̀ва «мэтр» я всегда не выносил, но надо сказать, что Вячеслав Иванович к облику некоего наставника в глубоком смысле действительно подходил. Человек был великой учености, ученик знаменитого Моммсена и крупнейшего филолога немецкого Вилламовиц-Меллендорфа. Знал древность насквозь, всех Дионисов и религии тех лет, и поэзию, литературу — да и в нашей литературе был великий знаток, о Достоевском «глаголаше премудро». И главное, вкусом обладал благородным.

Жизнь он вел странную. Вставал около шести вечера, ночью бодрствовал, вечерами устраивались у него собрания на этой самой «башне» (! — тоже снобизм) и молодые поэты и писатели вроде меня смотрели ему в рот и не зря смотрели: от него действительно можно

было чему-то научиться. Да и вообще, я уж об этом упоминал — собеседник он был исключительный.

Раз, в 1908 г., был я к нему приглашен не на собрание, а как бы давалась аудиенция с глазу на глаз. Тогда только что вышла повесть моя «Аграфена», вызвавшая в печати и бурные похвалы, и бурную брань. Из-за нее он и позвал меня, через Чулкова.

Я пришел часу в седьмом вечера, он забрал меня, увел к себе в кабинет — и вот начался разбор этой «Аграфены» чуть не строчка за строчкой — спокойный, благожелательный, но и критический. Продолжалось это часа полтора. Тут и почувствовалось, насколько предан этот человек литературе, как он ею, действительно, живет, какая бездна у него понимания и вкуса. Отнять литературу, он бы и зачах сразу. Я был молод, но не гимназист, а уже довольно известный писатель, но чувствовал себя в этот вечер почти гимназистом. Не таким, однако, кому инспектор долдонит что-то начальственное, а как младший в руках благожелательного, много знающего, но не заискивающего и не боящегося говорить правду старшего. Трудно вспомнить больше чем через полвека, что именно он говорил, но вот это впечатление благожелательного наставничества, не обидного, сочувственного и не дифирамбического, видящего и свет и тени, так и осталось в душе.

Какая там «башня», какой «мэтр», просто замечательный Вячеслав Иванович Иванов.

* * *

На вечерах его многолюдных я бывал редко. Понятно, не Горький, не Бунин и не Куприн посещали его, а совсем другие: Блок, Кузмин, Городецкий, Чулков, Ремизов, Пяст, Верховский, и еще море юнцов, худож-

ники «Мира Искусства». Читались стихи, разбирались — все как полагается. Но это нравилось меньше: мешала манерность и театральность. Отчасти и сам хозяин ей поддавался.

«Дни бегут за годами, годы за днями, от одной туманной бездны к другой». Быстро все это пронеслось. Войны, революция все перебуравили. Подкрашенный Кузмин со своими Александрийскими песнями погибал в Петербурге в убожестве. Городецкий приспособился и проскочил, Вячеслав Иванов, Чулков перебрались в Москву, и уж там не до «башен» и снобистских собраний.

Жил Вячеслав Иванович на Зубовском бульваре, работал в каком-то литературном учреждении, кажется «Лито» называлось. Луначарский, как более грамотный из «них», его поддерживал, покровительствовала и жена Каменева.

Как-будто начинали сбываться давнишние его мечты-учения о «соборности», конце индивидуализма и замкнутости в себе — но именно только «как-будто». Вот от этой самой соборности он только и мечтал куда-нибудь «утечь».

На Зубовский бульвар жена моя носила молоко его грудному тогда сыну Диме (ныне известный французский журналист) — не так просто было и доставлять это молоко. Но сын, слава Богу, выжил, несмотря на соборность.

Здравый же смысл все-таки взял у «мэтра» верх: в 1921 г. Вячеслав Иванов со всей семьей уехал в Баку, читал там лекции по классической филологии, но в 1924 г. «утек» в Италию. Это гораздо оказалось прочнее, чем разные Азербайджаны и Баку. Да, Италия более подходящее место для Вячеслава Иванова, чем Кавказ.

В Риме он выступил с публичной лекцией по итальянски. Слышавшие говорят, что читал превосходно, рассыпая всю роскошь старинного, даже старомодного итальянского языка. Видимо, это сразу дало точку опоры, завязались связи и он был приглашен читать в Павии, а потом стал профессором Римского Университета.

Тут долгое время никакой у меня связи с ним не было. Только раз, в тридцатых годах, я послал ему свою книжечку «Валаам». Его ответное письмо покоится теперь в Архиве Колумбийского Университета в Нью-Йорке. (А в отделе редких книг быв. Румянцевского Музея в Москве хранятся мои книги с надписями Вячеславу Иванову).

* *
*

В 1949 году наш приятель — ныне покойный А. П. Рогнедов, антрепренер, в душе артист, любитель Италии, как и мы с женой, некий конквистадор и по жизни своей «Казанова» — нежданно явился к нам с предложением свезти меня в Италию.

— У меня там двести пятьдесят тысяч лир, выиграл в рулетку, но вывезти не могу — проживем их вместе. Со мной едет одна испанка, восходящая звезда испанского синема. Билеты берите сами, жизнь там ничего вам не будет стоить.

Предложение замачивое. Поколебавшись, поблагодарили и согласились. Съехались в Ницце — Анита из Мадрида, мы из Парижа, Казанова в Ницце уже заседал. Нас смущало, при неблестящем складе быта нашего соседство «дивы», но Анита оказалась милейшей и простой юной женщиной, сразу подружившейся с моей женой.

Началось наше blitz-tournée. Оно — смесь комедии, фарса и поэзии. Мы ураганом пронеслись по Северной

Италии, были в Генуе, Милане, Венеции. Казанова то получал деньжонки из банка, раздавал их нам и Аните, то проигрывался в местных казино и занимал вновь у Аниты, но настроение было бодрое и веселое. Теперь мы летели к Риму. Там у Аниты были дела по кино.

Во Флоренции оказалось, что денег в обрез. У нас с женой были обратные билеты. Я сказал Казанове: — Поезжайте с Анитой, а мы вернемся.

Он даже рассердился.

— Я вам сказал, что довезу до Рима. Я возил труппу лилипутов на Формозу, неужели не смогу довезти вас с Верой до Рима? Но увы, можно будет остаться всего день.

Помчались. Да, это был всего один день! Мы успели побывать в Ватикане, а после завтрака в кабачке у Берниниевой колоннады, поехали к Вячеславу Иванову, на Авентин.

Авентин моей молодости был еще таинственно-поэтическим местом Рима. Тянулись сады, огороды, заборы.

Рядом с грядками капусты попадались низины, сплошь заросшие камышом. Я любил светлые, задумчивые вечера на Авентине, когда звонят Angelus, прощально золотеют стекла Мальтийской виллы, слепые гуляют в монастырском дворике, полном апельсиновых деревьев с яркими и сочными плодами. Как на райских деревцах старинных фресок.

Тут жили некогда родители Алексея Человека Божия, отсюда и ушел он в нищету, благостность, и сюда вернулся неузнанным.

Теперь известный поэт, столп русского символизма доживал дни свои на этом холме. И вот в Страстную Пятницу, в день смерти Рафаэля, с которым только что повстречались в Ватикане, мы поднялись в четвертый

этаж современного безличного дома и позвонили в квартиру Вячеслава Иванова.

Время есть время. Но и Вячеслав Иванов есть Вячеслав Иванов. Да, он изменился конечно, оба мы не такие, как были некогда на Арбате или в Петербурге на «башне», все же в этом слабом, но «значительном» старце в ермолочке, с трудом поднявшемся с кресла, был и настоящий Вячеслав Иванов, пусть с добавлением позднего Тютчева.

Мы обнялись не без волнения, расцеловались.

— Да, сил мало. Прежде в Университет ездил, читал студентам, потом студенты у меня собирались, а теперь всего два-три шага сделать могу . . . Теперь уже не читаю.

Но велика отрава писательства. Через несколько минут он сказал мне, что хотел бы вслух прочесть новую свою поэму. «Это не длинно, час, полтора . . .» «Дорогой Вячеслав Иванович, у нас минуты считаны. Мы на один день в Риме. Нас в Excelsior'e ждет импрессарио». «Ну, так я вкратце расскажу вам . . .»

Не помню содержания поэмы — нечто фантастическо-символическое, как-будто связанное с древней Сербией- какой-то король . . . — но не настаиваю, боюсь ошибиться.

Для меня дело было не в поэме, а в нем самом, отчасти и в моей дальней молодости, в счастливых временах цветения, поэзии, Италии — тут же был символ расставания. Разумеется, бормотал я какие-то хвалебные слова. Как бы заря разливалась на старческом лице поэта, истомленном, полуушедшем. Все же — последний отклик былого. «Боевой конь вздрогнул от звука трубы».

Но минуты наши действительно были считаны. Ничего не поделаешь. Пробыли у него полчаса, обнялись

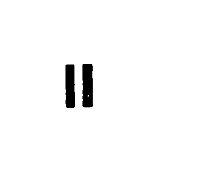
и расцеловались. Оба, конечно, понимали, что никогда не увидимся.

Автобус мчал нас чрез Рим. Знакомые места, «там где был счастлив», видениями промелькнули, и вот уже Quattro Fontane, Via Veneto, где жили некогда в пансионе у стены Аврелиана перед виллой Боргезе — и тот Excelsior, где нетерпеливо ждали уже нас Казанова с Анитой.

На другой день, рано утром, поезд уносил нас обратно, на север.

Месяца через два, летом, в римской жаре, Вячеслав Иванович скончался.

1963.


II

БЕРДЯЕВ

> Никого нет! Все ушли.
>
> Неизвестный автор.

Так давно все это было, а все-таки — было. Петербург начала века, журнал «Вопросы Жизни», огромная квартира, где обитал при редакции приятель мой Георгий Чулков — вроде редактора. Жил там и худенький Ремизов, в очках, уже тогда слегка горбившийся, волосы несколько взъерошенные — секретарь редакции. Издатель журнала скромный меценат Жуковский. Главными тузами считались Булгаков (еще не священник) и Бердяев, только что начинавший, но сразу обративший на себя внимание.

Мы с женой наезжая из Москвы, останавливались у Чулковых (недавно скончалась и Надежда Григорьевна Чулкова, супруга его — Царство небесное!).

Георгий тогда кипел, действовал, проповедывал вместе с Вячеславом Ивановым свой мистический анархизм (позже пришел просто к христианству).

Вот в этих «Вопросах Жизни», где и сам я сотрудничал, встретились мы впервые с Бердяевым и его женой Лидией Юдифовной. Было это в 1906 году, в памяти удержалось первое впечатление: большая комната, вроде гостиной, в кресле сидит красивый человек с тем-

ными кудрями, горячо разглагольствует и по временам (нервный тик) широко раскрывает рот, высовывая язык. Никогда ни у кого больше не видал я такого. Очень необычно и быть может, похоже даже на некую дантовскую казнь, но — странное дело — меня не смущал нисколько этот удивительный и равномерно-вечный жест. Позже я так привык, что и не замечал вовсе. (Не знаю, как относился к этому сам Николай Александрович: может быть считал знаком некой кары).

Бердяев был щеголеват, носил галстуки бабочкой, веселых цветов, говорил много, пылко, в нем сразу чувствовался южанин — это не наш орловский или калужский человек. (И в речи юг: проблэма, сэрдце, станьция). В общем облик выдающийся. Бурный и вечно-кипящий. В молодости я немало его читал и в развитии моем внутреннем он роль сыграл — христианский философ линии Владимира Соловьева, но другого темперамента, уж очень нервен и в какой-то мере деспотичен (хотя стоял за свободу). Странным образом, деспотизм сквозил в самой фразе писания его. Фразы — заявления, почти предписания. Повторяю, имел он на меня влияние как философ. Как писатель никогда близок не был. Слишком для меня барабан. Все повелительно и однообразно. И никакого словесного своеобразия. Таких писателей легко переводить, они выходят хорошо на иностранных языках.

В нем была и французская кровь — кажется, довольно отдаленных предков. А отец его был барин южно-русских краев, от него, думаю, Николай Александрович наследовал вспыльчивость: помню, рассказывали, что отец этот вскипел раз на какого-то монаха, погнался за ним и чуть не прибил палкой. (Монахов-то и Н. А. не любил. Но не бил. И к детям был равнодушен).

* *
*

Лента развертывается. И вот Бердяевы уже в Москве. В нашей Москве и оседают. Даже оказываются близкими нашими соседями. Из тех двух комнат, что снимаем мы на Сивцевом Вражке в большой квартире сестры моей жены, виден через забор дворик дома Бердяевых, а жил некогда тут Герцен — все это недалеко от Арбата, места Москвы дворянско-литературно-художественной.

Теперь Бердяевы занимают нижний этаж дома герценовского, Николай Александрович пишет свои философии, устраивает собрания, чтения, кипятится, спорит, помахивая темными кудрями, картинно закидывает их назад, иногда заразительно и весело хохочет (смех у него был приятный, веселый и простодушный, даже нечто детское появлялось на этом бурном лице).

Иногда заходит к нам Лидия Юдифовна — редкостный профиль и по красоте редкостные глаза. Полная противоположность мужу: он православный, может быть, с некоторыми своими «уклонами», она ортодоксальнейшая католичка. Облик особенный, среди интеллигенток наших редкий, ни на кого непохожий. Католический фанатизм! Мало подходит для русской женщины (хотя примеры бывали: кн. Зинаида Волконская).

Однажды, спускаясь с нами с крыльца, вдруг остановилась, посмотрела на мою жену своими прекрасными, прозрачно-зеленоватыми глазами сфинкса и сказала:

— Я за догмат непорочного зачатия на смерть пойду!

Какие мы с женой богословы? Мы и не задевали никого и никто этого догмата не обижал, но у нее был действительно такой вид, будто вблизи разведен уже костер для сожжения верящих в непорочное зачатие.

Николай Александрович мог приходить в ярость, мог хохотать, но этого тайного, тихого фанатизма в нем не было.

Много позже, уже в начале революции, запомнилась мне сценка в его же квартире, там же. Было довольно много народу, довольно пестрого. Затесался и большевик один, Аксенов. Что-то говорили, спорили, Д. Кузьмин-Караваев и жена моя коршунами налетали на этого Аксенова, он стал отступать к выходу, но спор продолжался и в прихожей. Ругали они его ужасно. Николай Александрович стоял в дверях и весело улыбался. Когда Аксенов ухватил свою фуражку и поскорей стал удирать, Бердяев захохотал совсем радостно.

— Ты с ума сошла, — шептал я жене, — ведь он донести может. Подводишь Николая Александровича...

Но тогда можно еще было выкидывать такие штуки. Сами большевики иной раз как бы стеснялись. (У нас был знакомый большевик Вуль, мы тоже его ругали как хотели. Он терпел, даже как бы извинялся. Потом свои же его и расстреляли).

* *
*

И вот в полном ходу революция. Тут мы с Бердяевым гораздо чаще встречались — и в Правлении Союза Писателей (не-коммунистического), и в Книжной Лавке Писателей — это была маленькая кооперация, независимая от правительства.

Мы стояли за прилавками, торговали книгами. Осоргин, проф. Дживелегов, Бердяев, я, Грифцов.

Дело шло хорошо. Мы скупали книги у одних, продавали другим. Осоргин, Грифцов занимались коммерческой частью. Мы с Бердяевым были «так себе», в сущности мало нужные, во всяком случае не деловые.

Покорно доставали с полок книги, редко знали цену, спрашивали Палладу, красивую нашу кассиршу, она была вроде «Хозяйки гостиницы», все знала и все умела. (Жива ли сейчас эта Елена Александровна, или скончала дни свои в каком-нибудь концлагере, а то и просто в Москве? Если да, то мир тени ее!).

Мы жили дружно, по-товарищески. Но вот в этой самой Лавке довелось мне видеть раз огненность Бердяева.

Кроме нижнего помещения была у нас и наверху комнатка и даже нечто вроде галерейки с книгами, напоминавшей хоры в залах старых домов.

Раз рылся я там в чем-то, искал книгу, что ли, вдруг снизу раздался громовой вопль Бердяева. Что такое? Перегнулся через решетку, вижу — Николай Александрович, багровый, кричит неистово на Дживелегова, а тот пятится, что-то бормочет смущенно . . . Проснулась кровь отцовская. Никаким монахом Дживелегов не был, ненавидеть его совсем не за что, но Бердяеву только недоставало костыля, чтобы получилось „action directe".

Оказалось, «Карпыч» сказал что-то игриво-обидное, но пустяки, конечно. Бердяев же взбеленился. Дживелегов поднялся ко мне на вышку несколько бледный.

— Ну, и характерец . . .

А через четверть часа взошел и Бердяев, уже успокоившийся, смущенный.

— Простите меня, Алексей Карпович, я виноват перед вами . . .

Это в его духе. Натура прямая и благородная, иногда меры не знающая.

Он перед этим написал книгу «Философия неравенства», против коммунизма и уравниловки, в защиту свободы, вольного человека (но никак не в защиту золотого тельца и угнетения человека человеком). Она

печаталась частью в «Народоправстве», журнале Чулкова в Москве, в самом начале революции, когда такие вещи еще проходили. Книга-памфлет, написана с такою яростью и темпераментом, которые одушевляли, даже поднимали дарование литературное: уж очень все собственной кровью написано. Замечательная книга (позже он почему-то ее стеснялся . . . Думаю, в позднейшей его европейской славе она не участвовала, для европейского средне-левого интеллигента слишком бешеная).

• •
•

Революция шла и мы куда-то шли. Разносил ветер кучку писателей российских по лицу Европы. Бердяев попал в группу высланных заграницу в 22 году, я с семьей по болезни был выпущен в Берлин, и вот снова мы встретились, под иным уже небом. Не только что встретились, а целое лето 23 -го года прожили в одном доме, в Прерове близ Штральзунда (на Балтийском море). В одном этаже С. Л. Франк с семьей, в другом Бердяев с Лидией Юдифовной, в нижнем я с женой и дочерью. Так что над головами у нас гнездились звезды философии. С этими звездами жили мы вполне мирно и дружески. С Николаем Александровичем ходили иногда в курзал, я пил пиво, а Бердяев с моей женой разглядывали танцующих немцев, немок, хохотали, веселились — не помню уж из-за чего. (Странная вещь: Бердяев вспоминается очень часто веселым!).

Наверху сочинялись философии, внизу я готовил чтение о русской литературе (да и наверху, наверно, готовились: всех нас пригласил в Рим читать в Istituto per Europa Orientale проф. Этторе Ло Гатто — каждого по специальности).

Той осенью оказался в Риме как бы съезд русских: Вышеславцев, Осоргин, Муратов, Чупров (младший, сын профессора. Тоже экономист), Бердяев, Франк, я — каждый выступал перед публикой римской по своей части. (По-французски и по-итальянски).

* *
*

Италия мелькнула перед нами видением, как, всегда для меня блаженным, но прочно, «навеки» поглотил нас Париж — почти всех тех участников римских бдений. История, страшные волны ее, проносились над нашими головами в Париже. Николай Александрович обосновался в Кламаре, Вышеславцев, Осоргин, я, Муратов — в самом Париже.

Тут видели мы войну, нашествие иноплеменных, поражение сперва одних, потом других, появление советских военных, как победителей — все, все, как полагается . . .

Эмиграция же пережила некое смятение, некие увлечения, несбыточные надежды.

С Бердяевым произошло тоже странное: и немолод он был, и революцию вместе с нами пережил, и «Философию неравенства» написал, и свободу, достоинство и самостоятельность человека высочайше ценил . . . — и вдруг этот седеющий благородный лев вообразил, что вот теперь-то, после победоносной войны, прежние волки обратятся в овечек. Что общего у Бердяева со Сталиным? А однако в Союзе советских патриотов он под портретом Сталина читал, в советской парижской газете печатался, эмигрантам брать советские паспорта советовал, вел разные переговоры с Богомоловым — кажется, считался у «них» почти своим.

В Россию, однако, не поехал. Но в доме у него в Кламаре гнездилось чуть не все просоветское тогдашнего Парижа.

Да, это были не времена Лавки Писателей в Москве и «одиночества и свободы». Одиночество было у тех, кто не ездил по советским посольствам, но и свобода осталсь за ними.

«Ты царь. Живи один. Дорогою свободной 3к
Иди, куда влечет тебя свободный ум . . .»

Мы с женой не бывали больше у Бердяевых. (Любопытно, что и Лидия Юдифовна никак не уступила: к коммунизму осталась непримиримой. И вот если бы попала в тогдашнюю Россию, вполне могла бы принять венец мученический за непорочное зачатие. Слава Богу, не поехала).

Здоровье Николая Александровича сдало — последствия давнего диабета.

Наша последняя встреча была грустной. Мы с женой шли по улице Кламара — навстречу похудевший, несколько сгорбленный и совсем не картинно-бурный Бердяев. Увидев нас, как-то прояснел, нечто давнее, от хороших времен Сивцова Вражка, Прерова появилось в улыбке. Подошел будто как прежде.

Нет, прежнего не воротишь! Жена холодно, отдаленно подала ему руку — да, это не Москва, не взморье немецкое с пляшущими немцами.

Он понял. Сразу потух . . . Разговора не вышло никакого. Поздоровались на улице малознакомые люди, побрели каждый в свою сторону. Может быть, тик сильней дергал его губы. Может быть, и еще больше он сгорбился. Может быть, мы могли быть мягче с ним. (Но

так кажется издалека! Т о г д а слишком все было остро. Он слишком был с «победителями». Тогда трудно было быть равнодушным).

* *
*

В Россию он не попал. Книги его там под полным запретом. Я думаю! Очень он им подходящ!

1962.

АРХИМАНДРИТ КИПРИАН

— Вас хотел бы видеть один монах.

Я спустился в приемную отеля, где мы остановились — русские писатели эмиграции, собравшиеся в Белград осенью 1928 г. на литературный съезд.

Мне навстречу поднялся высокий, тонкий, с прекрасными большими глазами, изящными руками молодой монах. В руке у него была книжка.

— Киприан Керн, — назвал он себя. — Извините, что потревожил, но хотелось повидать вас, по маленькому делу.

Он очень мне сразу понравился. Красотой и изяществом, особой утонченностью облика и манер. Длинными пальцами подал книжку свою «Крины молитвенные», с надписью мне, подписью: «Архимандрит Киприан». Это был сборник его статей по литургическому богословию.

Очень молод, но уже архимандрит. Мы разговорились. Сразу выяснилось — не только архимандрит, но и любитель литературы и вообще искусства. Все это вполне вяжется с обликом его, прекрасными глазами, длинными изящными пальцами. Явно было из разговора, что ему хочется в Париж, в Богословский Институт, к источнику русского богословствования, (тогда жив был еще о. Сергий Булгаков).

Эта первая встреча была краткой, потом жизнь свела ближе. Митрополит Евлогий вызвал его в Париж и он стал настоятелем церкви на рю Лурмель, ездил в Сергиево Подворье читать лекции.

На рю Лурмель мы встречались и в церкви, и у матери Марии. Я познакомил его со своей женой, он стал бывать у нас. Скоро сделался нашим духовником и близким, дорогим человеком.

Он тогда полон был сил, склонный и к глубокой меланхолии, и к высокому подъему.

Помню одну Пасхальную заутреню на рю Лурмель. О. Киприан служил в каком-то светлом экстазе. Он и вообще легко ходил, но тут высокая и тонкая его фигура в ослепительно белой ризе, при золоте света, просто носилась по церкви, почти невесомо. Глаза сияли. Он излучал восторг. Это запомнилось как некое видение иного, просветленного мира.

После заутрени литургия кончилась в половине четвертого. Такой пасхальной ночи мы не переживали никогда — домой вернулись на рассвете, усталости не было: легкость, радость.

* *
*

Сложная и глубокая натура. Характер трудный, противоречивый, с неожиданными вспышками. Колебания от высокого подъема к меланхолии и тоске, непримиримость, иногда нетерпимость. Острое чувство красоты и отвращение к серединке. Мистик, одиночка, облик артистический, некое безошибочное благородство вкусов. Особо ценил одиноких и непонятых, недооцененных. Константин Леонтьев, Леон Блуа были его любимцы.

И наука, книги! Он довольно скоро переселился от матери Марии (полная противоположность ему) в Сергиево Подворье. Читал там лекции по Патрологии, обрастал книгами. В комнате его всегда пахло ладаном, висели портреты Александра I, митрополита Филарета, Константина Леонтьева. Старинный образ, лампадки, стены все в книжных полках, в окнах зелень каштанов. Впечатление келии ученого монаха. В соседней крошечной кухоньке варил он для гостей турецкий кофе, крепчайший.

Приход получил в Кламаре, чуть не в двенадцати верстах от Сергиева. Но ничто не могло остановить его, когда надо было служить литургию, исповедывать, причащать. Маленькая кламарская церковь, пахнущая ладаном и сухим деревом, простая, но столь изящная и намоленная, в зелени владения Трубецких... — вот где свил о. Киприан свое гнездо. Здесь его любили, чтили, здесь, я думаю, чувствовал он себя именно д о м а, и для Кламара рук не покладал. На Сергиевом Подворье читал лекции, писал ученые сочинения (огромный труд «Антропология св. Григория Паламы», давшая ему голубой крест доктора богословия, «Евхаристия» и др.) — а в Кламаре служил, исповедывал, причащал.

Германское пленение мы проводили оба в Париже. Не забыть одного вечера летом 44 года — после всенощной нельзя было уже вернуться из Кламара домой. Мы остались ночевать в доме рядом у О. А. Глебовой, тоже друга о. Киприана. К Парижу подходили союзники. Немцы безнадежно отбивались. Электричества не было, мы сидели в темной столовой Ольги Александровны, издали слышались иногда взрывы и канонада, зарева таинственным, дрожащим светом полуосвещали нас. О. Киприан в особенном подъеме. В нервной этой полумгле прочел нам целую лекцию о св. Григории Паламе.

В такой обстановке не впервые ли приходилось ему читать, а нам слушать? Да и воспринимать (под бомбардировку окрестностей). Но воспринимали. И как!

Летом 44 года в Париже вовсе не было метро. Но не такой человек был о. Киприан, чтобы его остановило это. Из Сергиева Подворья пешком шествовал он в Кламар. Мы тогда временно жили на рю Сен-Ламбер, в 15-м округе Парижа. У нас путник делал в субботу привал, жена моя подкармливала его и он шел дальше, вечером служил всенощную в Кламаре, ночевал, утром литургия — и тем же путем обратно.

Незабываема осталась одна суббота. Моего зятя немцы собирались взять в Германию на работу. Делались попытки отклонить это — неудачно.

Сирены гудели, как хотели. Все же дочь наша пришла во-время. «Папа, плохие вести. Завтра Троица, ответа нет, во вторник уже ехать». Она легла на постель, на спину. Крепилась, но в лице что-то вздрагивало. «Мне будет ужасно скучно одной. Не забывайте меня». Мать целует ее, я тоже.

О. Киприан появился скоро. Я сказал ему, что хотелось бы отслужить молебен.

Стук в дверь. Усталый Андрей, но веселый. «Хорошие вести». До часа он сидел на службе — в последнюю минуту известие: немцы отменили решение. Мать обнимает Наташу. «Помнишь, мы начали хлопотать в канун дня Николая Чудотворца? Он всегда мне помогал».

Архимандрит тоже взволнован. Сквозь слезы слушаем мы молебен. Да, все пятеро объединены в волнении и любви. «Ибо всякий просящий получает и ищущий находит, и стучащему отворят».

Архимандрит стоял с крестом высокий, худой несколько сутулясь. Крепко и пламенно сказал, обраща-

ясь к Андрею: «Все будет хорошо. Все как надо. Полагайтесь на Бога. Чудеса Его не в том, что вот пред вами столп какой-нибудь огненный возникает, а в том, что Промысел так все устраивает, как надо, для вашего же добра».

Завтракали весело и легко. Опять сирены, снова стрельба. Но радость не подавляется — тут уж могу сказать: радость нашей братской трапезы. Да, оттенок агапы, трапезы любви был во «вкушении» салата, макарон, вина, кофе настоящего, который сберегла жена к этому дню. А потом о. Киприан рассказывал о своих ученических годах, просто веселое и смешное. Наташа заливалась смехом детским.

* *
*

В небольшом дружеском кругу мы называли о. Киприана просто «Авва». Разумеется, авва этот был очень переменчив, от подъема переходил к сумраку и меланхолии. Тогда умолкал и добиться от него чего-нибудь было трудно.

Два военных лета мы проводили с ним вместе в имении покойного проф. Ельяшевича в Bussy en-Othe (Yonne), в отличном двухэтажном доме с фруктовым садом, почти на опушке огромного леса. (В память покойной жены своей Фаины Осиповны, В. Б. Ельяшевич подарил потом этот дом и все владение русским монахиням. Теперь в комнатах, где жили летом о. Киприан, мы с женой, Мочульский, Л. Львов, Таганцев, Киселевский — православный монастырь. Василия Борисовича тоже нет уже среди нас — а память о нем осталась).

В этом Бюсси мы жили привольной и спокойной жизнью. За комнатой о. Киприана была маленькая часовня, там он служил как в церкви, я ему немножко

прислуживал, для меня службы эти тоже незабываемы — все небольшое население дома присутствовало.

Потом авва засаживался за свои книги, я за свои, в промежутках гуляли в лесу, собирали грибы (кто больше?) — о. Киприан был большой знаток и грибов, и всяких растений, цветов, деревьев, птиц.

Рассказчик был замечательный, отлично изображал разных лиц, от простецких до архиереев. В нем вообще сидел артист, художник. Он вполне мог бы играть в театре у Станиславского. В церкви служение его было высоко-художественное — если позволительно так сказать о священнодействии. Прекрасный голос, музыкальность, вкус. (Терпеть не мог, когда протодиакон выкликал Евангелие так, чтобы стекла дрожали.. «Замоскворецкий стиль, для людей Островского»).

В Бюсси он чувствовал себя среди друзей, был прост, ласков и откровенен. Иногда мы мальчишески забавлялись: ходили по огромному коридору «драконами», (авва подымал полы рясы своей, сгибал длинные ноги, приседая), дразнили пса Дика, подсматривали, что будет в столовой к завтраку («какой пейзаж»).

Потом на него вдруг нападала тоска. Он укладывается, собирается.

— Что такое? Куда вы, о. Киприан?

У него измученное, беспокойное лицо. Прекрасные глаза несчастны, будто случилась беда.

— Не могу больше. Нет, должен ехать в Париж.

Удержать его невозможно. Что-то владело им, гнало к перемене места, и хотя ему вовсе не нужно было в Париж, он неукоснительно уезжал. А потом мог так же нежданно приехать.

Кажется, это признак болезненной нервности. Гоголь в последние свои годы так же подвержен был передвижениям.

* *
*

Нечто от православного бенедиктинца было в покойном авве. В мирные времена, да даже во время войны мы немало бродили с ним по парижским Quais с вековыми платанами, с вековой Сеной и Нотр-Дам на том берегу. Ларьки букинистов... — это был наш мир — мирный и тихий мир. У него были тут даже знакомства; нашелся какой-то поклонник Леона Блуа и среди торговцев. Мы рассматривали старые книги, я по части Данте, Италии, он — Леона Блуа, истории, богословия. Эти блуждания, разговоры и рассказы об Италии, Сербии, Иерусалиме, где два года был он начальником Православной Миссии (как умел он рассказать о монахах, митрополитах, арабах, сербах...) — беседы эти тоже незабываемы, как и сам облик православно-восточно-русский самого архимандрита, ни на кого не похожего.

Думаю, что в церковном делании главное для него было — Богослужение. Если бы его лишили служения литургии, он сразу зачах бы. Литургия всегда поддерживала его, воодушевляла: главный для него проводник в высший мир — насчет нашего, буднично-трехмерного у него взгляд был невеселый. «Председатель общества пессимистов», в шутку называл он себя. Но не вполне это была шутка. Он действительно нелегко переносил внешнюю жизнь — тут, вероятно, эстетизм и уединенное своеобразие играли роль.

Как исповедник он был очень милостив. Грешнику всегда сочувствовал, всегда был на его стороне. На исповеди говорил сам довольно много, всегда глубоко и с добротой. Иногда глаза его вдруг как бы расширялись, светились. Огромное очарование сияло в них: знак сильного и светлого душевного переживания. (А когда раздражался, в жизни повседневной — нередко от зрели-

ща пошлости — эти же глаза становились холодными и мрачными). «Не из легких он был, но цельный и настоящий», — так выразился о нем недавно один из близких ему. И еще добавил: «Вижу теперь, что больше его любил, чем догадывался сам», — привожу слова эти, считая их правильными и меткими.

Может быть, и ошибаюсь, но думаю, что обычное служение его в храме было скорее прохладно-музыкально, чем эмоционально (или эмоция была глубоко спрятана). Только на одной службе — выносе Плащаницы — силу чувства он не мог или не хотел скрыть.

Мне годами выпадала радость присутствовать при выносе Плащаницы в Страстную пятницу в Кламаре, стоять в алтаре рядом с другими участниками выноса, видеть вблизи о. Киприана молящимся, благоговейно обтирающим Плащаницу, легко и ритмически падающим перед ней ниц, поднимающим ее на свою голову. А мы четверо, поддерживая ее углы, осторожно выходили боковой дверью в церковь. Вся она сияла свечами, все стояли с этими свечами на коленях, взрослые и мелкая поросль детей, по всей церкви шел ток света и сдерживаемых слез.

И тут шествие о. Киприана, согбенного под нетяжкою ношей, в глубоком волнении, чуть ли не с «кровавым потом» на висках — все это чувствовалось как некое таинственое шествие голгофское.

* *
*

Думал ли я тогда, в Бюсси, кое-как читая в часовенке Шестопсалмие, что через семнадцать лет в Сергиевом Подворье, в комнате нашего дорогого аввы, доведется мне читать над его телом Евангелие? (Над скон-

чавшимся священником Евангелие читают священники. Но вот тут вышла нехватка, читали и студенты, и я).

Столь знакомые полки с книгами (стен почти нет, все книги) и длинный смертный одр по диагонали, головой к иконам и лампадке, к нам ногами. Изможденный, в торжественной мантии прах нашего друга. Лицо завешено воздухом с вышитыми греческими надписями, у правой стороны груди Евангелие, руки сложены симметрично. Нечто торжественно древнее, монастырское и сколь благородное. В его духе.

Читали над ним непрерывно. Последним читал я, и последнее, что прочел, была любимая его притча о Блудном сыне. Он о всех нас и о себе самом всегда говорил, что это — про нас. Притчу эту выделял особой любовью из всего Евангелия.

Когда я кончил ее, пришел священник, началась служба при положении во гроб.

1960.


III

АЛЕКСАНДР БЕНУА

Близким по жизненной связанности Бенуа мне никогда не был, но фигура его явилась в ранние мои годы и то приближаясь, то удаляясь сопутствовала более полувека. Так что говоря о нем, невольно говоришь нечто и о своей жизни.

В начале века в Петербурге основалось издательство «Шиповник» — З. И. Гржебин, С. Ю. Копельман. Молодые авторы импрессионистическо-модерного рода участвовали в нем и художники «Мира Искусства». Выходили в «Шиповнике» и мои книжки. По этим же литературным делам ездили мы с женой иногда в Петербург, перезнакомились с шиповниками, бывали на собраниях издательства, сразу попали в новый, высококультурный мир. Из писателей бывали на собраниях этих Леонид Андреев, Блок, Сологуб, Кузмин, Сергеев-Ценский и др. Художники — Бенуа, Добужинский, Лансере, Сомов, Кустодиев и тоже еще другие разные.

Бенуа был тогда в цвете сил и энергии, нестарый, лет под сорок, но уже вождь всех этих художников, уже чувствовался в нем вес и авторитет познаний, дарований, но ничего навязываемого. Просто любезный и приветливый человек, покорявший не напором или силой, а высотой культуры и одаренности. Многие из художников этих сотрудничали в альманахах «Шипов-

ника», там же печатались воспроизведения рисунков Бенуа. Добужинский, Чемберс украшали обложки книг, и т. п.

Первое знакомство с Бенуа было очень беглое и поверхностное, все же проходит оно некоей приятной чертой — чего-то легкого, культурного, может быть и воспитательного: мы с женой были вроде студентов перед этим изощренным, многознающим Александром Бенуа.

Чувство ученичества еще усилилось, когда попали мы в Париж, впервые в мировой центр, после милой, домашней Москвы (тогдашний Париж отличался от теперешнего, пожалуй, больше, чем тогдашняя Москва от тогдашнего Парижа). И вот среди этих фиакров с красноносыми кучерами, омнибусов лошадиных, среди толпы парижской мы робели и нуждались в покровительстве. В самом Париже нас устраивала и опекала покойная Екатерина Алексеевна Бальмонт, наш добрый гений, поместивший нас в Латинском квартале, опекавший по делам покупок, всяких мелочей. В это же время находился в Париже и Александр Николаевич Бенуа с семьей. Жили они тоже неподалеку. Однажды в Люксембургском саду две девочки играли в бильбокэ, подбрасывали нечто вроде катушки вверх, ловили на веревочку горизонтальную с двумя ручками и вновь подбрасывали.

— Это девочки Бенуа, Атя и Леля — сказала Екатерина Алексеевна.

Да, это были «девочки Бенуа», и тогда были они совсем маленькие.

В Париже Екатерина Алексеевна свела нас ближе с Александром Николаевичем, наладила поездку в Версаль. Тут нам просто повезло. Ехать в Версаль с таким проводником!

Мы отправились все, под водительством Бенуа: Е. А. Бальмонт, Протопопов (старомоднейший и тишайший русский барин, их приятель), и мы с женой.

Передвижения тогдашние очень отличались от теперешних. Сколько было в Париже автомобилей? Не знаю. Я их почти не видел. Ездили мы с левого берега на правый на омнибусе двухэтажном, времен, быть может, Наполеона III. Круговое метро до «Этуаль» еще не доходило. Протопопов соглашался ездить от Pasteur по эстакаде, над землей, но в землю ни за что не хотел спускаться. В Версаль вся наша компания, под водительством Александра Николаевича, совершала путь в допотопных двухэтажных вагончиках — их тащил измученный маленький локомотив, задыхаясь от клубов черного дыма из конической трубы.

Но Версаль был Версалем. Тут Бенуа оказался как дома, все знал, все объяснял, мы почтительно слушали. И особенно чувствовали себя учениками, детьми дальней Московии. Для Бенуа все эти дворцы, зеркальные галереи, Трианоны, были вполне свое (думаю, он вообще к Франции и Западу был ближе, чем к России. Вижу его в Версале, не вижу среди русских полей и лугов).

Для нас все это было весьма замечательно, но суховато, внутренне холодновато. Версаль Версалем, но по настоящему сердца наши раскрылись несколько позже, в блаженной майской Флоренции.

В этом Версале провели мы с Бенуа чуть не целый день, светлый и веселый, видением молодости, артистизма остался он в душе. Завтракали там же, что-то скромное, чуть ли не в crémerie. Помню удивительные цветущие глицинии, нежного голубовато-лилового оттенка, где-то у Трианона. Помню оживленное, почти восторженное лицо Александра Николаевича, показы-

вавшего нам Версаль как свое имение, где он знает и любит каждый закоулок, каждый гвоздь.

Через несколько дней он уехал с Протопоповым в Испанию, а мы с женой во Флоренцию.

* *
*

Годы шли. «Шиповник» расцветал. Кроме альманахов, беллетристики, задумали они издание фундаментальное: «Историю живописи всех времен и народов» Александра Бенуа. Охват огромный — с древнейших эпох до нас. Выходило отдельными тетрадями, на отличной бумаге, со множеством воспроизведений.

Мне присылали эти тетради, из них слагались томы. Ученичество мое продолжалось, и как тогда, в Париже и Версале, проводником, наставником оказался Александр Бенуа. Но теперь вел не по Версалю, а по всему миру. Удивительны мне казались познания этого человека. И древность восточная, и Греция, и итальянский Ренессанс, и фламандцы, и французский XVIII век. При том — как это рассказано, до чего живо и своеобразно! «Вот я это вижу и рассказываю так, как вижу и чувствую, именно я, Александр Бенуа, и вы можете соглашаться со мной или не соглашаться, но так я вижу и так пишу, как мне нравится».

Я зачитывался этой Историей живописи. Она, к сожалению, не была доведена до конца: подошла война, революция. Тут уже не до живописи.

Предвоенные мои годы связаны с Бенуа больше всего через эту «Историю». Она хранилась у меня в деревне, в том флигеле Притыкина, где была моя библиотека, рукописи, письма — от всего этого не осталось ныне и следа. Самого флигеля не существует — просто ровное место. «Возвратясь в свою комнату, взглянув на дорогие портреты, книги, с усмешкой скажешь, что

быть может через тридцать лет твоим Пушкиным будут подтапливать печь, а страницы Данте и Соловьева, уйдут на кручение цыгарок» — так писал я обо всем этом еще в России, еще когда флигель существовал. Так все и вышло, только можно прибавить еще «Историю Живописи» Бенуа. Тоже она погибла.

Перед войной Художественный Театр задумал ставить «Хозяйку гостиницы» Гольдони. Декорации писал Бенуа. Мы жили ту зиму в Благовещенском переулке близ Тверской. Из деревни мать прислала нам замечательную индюшку. Мы решили угостить ею Бенуа, с которым мельком я встречался в Москве.

Бенуа приехал к завтраку, как всегда оживленный, много рассказывал о Художественном Театре. Мы сами были поклонниками Художественного Театра. (Даже в обстановке столовой было отражение его: дубовый квадратный стол, у стены за ним дубовая же скамья, над ней полоса серого холста — только чайки на нем недоставало). Бенуа на этой скамье и сидел, а мы говорили о Гольдони, который всегда мне нравился.

— А выходит у них диалог гольдониевский? Ведь это быстрота такая, легкость, улыбка . . .

— Да приходите на генеральную репетицию, сами и посмотрите. — А это кто писал? — спросил он, указывая на огромный картон, во всю противоположную стену, где углем и гуашью, разноцветно, изображена была в виде танцовщицы полулежащей, в маскарадном костюме и маске, моя жена.

— Это приятель наш, Александр Койранский.

— Очень недурно.

Завтрак прошел весело, Бенуа одобрил и живопись Саши Койранского и индюшку. — Притыкино за себя постояло. Получили мы и пригашение на генеральную «Хозяйки гостиницы».

* *
*

Когда раздвинулся занавес, сразу оказались мы во Флоренции. Милые сердцу черепичные крыши, развешанное на дворе белье по веревке, вдали бессмертная башенка Палаццо Веккио, свет, разлитый повсюду, голубоватые дали. Пьеса еще не начиналась, а вся зала аплодировала — приветствовали прекрасного художника и прекрасный город.

Но сама пьеса тоже имела успех. Конечно, гольдониевского диалога, легкости венецианской и даже детскости писателя этого серьезный, основанный на «переживаниях» и психологии Художественный Театр дать не мог. Получилась русская версия „Locandier'ы", несколько отяжеленная (да и сам язык русский не приспособлен к гольдониевскому щебетанию).

Все же вышло очень хорошо. Сама «Хозяйка» — Гзовская, больше всех отвечала Гольдони, — в ее гибкости, легкости и быстроте было как-раз созвучие. Из других запомнился Станиславский — кавалер Рипафратта. Он был уморителен. Никак не итальянец, но непрерывно вызывал благодушную усмешку, очень был смешон по хорошему. Говорили, чуть не год учился и изобретал как сесть на стул — особенно как-то заносил ногу через спинку, садился верхом. Прелестно.

Бенуа прошел через все акты с отличным успехом.

* *
*

Тут наступает перерыв, все наши горести, трагедии войн, революций, многолетних землетрясений. А после землетрясений этих оказались мы снова в том Париже, из которого ездили некогда в Версаль. Бенуа на левом

берегу Сены, я на правом. Теперь не было Художественного Театра, Притыкина, Благовещенского переулка и годы подводили ближе, ближе к неизбежному. Но Александр Николаевич так и остался художником-писателем, только декорации создавал не для Художественного Театра, а для Миланской Scala, для Парижа, Лондона, Вены. Писал же теперь не историю живописи, а воспоминания — о Петербуге, своем детстве, о родных. Два первых тома вышли в Чеховском Из-ве в Нью-Йорке.

Иногда заходили мы с женой в его квартиру-ателье — огромная комната с книгами, увражами, картинами, много света, здесь более официальный прием. А по узенькой лесенке подымешься выше, там небольшие комнатки, столовая, рядом рабочая комната Александра Николаевича. Постаревший, не такой, как в Версале, но живой, всем интересующийся, в небольшой ермолочке, он приветливо, с оттенком барственности встречает за чайным столом гостя, сидя в кресле своем.

Прежде Анна Карловна, супруга его, разливала чай, угощала пришедшего. Но уж несколько лет как она скончалась, ее место занято Анной Александровной, той «Атей», что играла некогда в Люксембургском саду. Стиль Анны Карловны сохранен — скромность, простота, благожелательность. Да, тут мирный воздух художества и той высокой культуры, к которой принадлежал и принадлежит Александр Бенуа. Ушли все его сотоварищи по «Миру Искусства», он один доживал свой век. Но век этот выдающийся. Ушли Лансере, Добужинский, Сомов — теперь новое племя из далекой петербургской земли шлет приветы, почтительные письма патриарху. А сам он тоже душою в Петербурге, показывает альбом свой, рисунки, теперь делаемые, здесь в Париже — опять петербургская старина.

* *
*

Часто вспоминался Бенуа в эти эмигрантские годы, особенно в последнее время — хотелось, чтобы дожил он до недалеких уже девяноста лет. Смысла никакого, но почему-то хотелось. Все-таки не дотянул. Двух с половиною месяцев не хватило. В феврале мы, почтительная толпа друзей и почитателей, провожали гроб его с rue Vitu в католический храм св. Христофора, очень от него близкий. Торжественный орѓан встречал и провожал его.

Один из друзей покойного сказал на похоронах:

— Что же, все мы любили и почитали Александра Николаевича. Но ведь и солнце заходит вечером, когда час его наступает.

Что-то естественно-закатное было, действительно, в кончине Бенуа. Прошла высокая и деятельная жизнь — в творчестве, писании, искусстве — и дошло все до положенного предела.

Русский замечательный поэт золотого века сказал об умершем германском знаменитом поэте:

«На древе человечества высоком
Ты лучшим был его листом.
. . . .
Был многих краше, многих долголетней
И сам собою пал, как из венка.»

1960.

П. П. МУРАТОВ

Давно, вероятно, еще в Москве, он говорил мне:

— Мой отец умер шестидесяти девяти лет. Я его не переживу. Исполнится шестьдесят девять, и довольно . . .

Ему и исполнилось — в марте этого года. А в октябре он скончался, в имении друзей, в Ирландии.

* *
*

Мы познакомились в 1903 году, он только что кончил Путейский Институт в Петербурге, не отбывал ли в Москве воинской повинности? Жил во всяком случае у Никитских ворот в доме брата, офицера генерального штаба Муратова — вместе с тем самым отцом, тихим стареньким военным врачем чеховской формации, переживать которого не собирался. (Когда вспоминаю этого отца, его худенькую скромную фигурку в военной тужурке — он бесшумно читает «Русские Ведомости» и бесшумно живет — то вот она, фраза няньки из «Дяди Вани»: «Все мы у Бога приживалы»).

Но Павел Павлович (мы тогда звали его дружески «Патя» — так до старости и осталось) — он тогда еще был юн, с мягкими рыжеватыми усиками, боковым пробором на голове, карими, очень умными глазами. Держался скромно. Иногда несколько застенчиво ухмылял-

ся . . . «Да, Боря, гм . . .» Ходил уже тогда по-литераторски, а не по-военному, — левое плечо свисало, и вообще по всему облику мало походил на «фронтовика». Нечто весьма располагающее и своеобразно-милое сразу в нем чувствовалось.

При такой тихой внешности обладал способностью постоянно увлекаться — в чем, собственно, и прошла вся его жизнь. При его одаренности это давало иногда плоды замечательные.

Первое из известных мне увлечений Муратова было военное дело, вернее сказать стратегия, фантазии о движении войсковых масс, флотов и т. п. В 1904 г. писал он вместе с братом в московских газетах: он о морской войне, брат о сухопутной (тогда воевали в Японии). Оба были оптимистами . . . — и на бумаге выходило много лучше, чем в действительности. Но читалось с интересом: вроде военного «магического рассказа».

После войны, кончившейся не так, как предполагали стратеги, Павел Павлович уехал в Париж, там занялся современной французской живописью. Помню весну 1906 года, Московский журнальчик «Зори» — Муратов присылал нам из Парижа статьи о новейших художниках. В то время Италии еще не знал и к тому азарту, с каким мы с женой восхищались Италией на всех перекрестках Москвы, относился довольно равнодушно. Его занимали Матиссы, Гогены. Однако же вскоре и он попал в Италию и так же как мы навсегда п о п а л с я. Это была роковая встреча: внесла его имя в нашу культуру и литературу — в высокой и благородной форме.

* *
*

Три тома «Образов Италии» посвящены мне: «в воспоминание о счастливых днях». В этом сходились мы

вполне: для обоих лучшие дни были — Италия, а его слова относятся к 1908 году, когда вместе жили мы и во Флоренции, и в Риме.

Во Флоренции в том самом „Albergo Nuovo Corona d'Italia", который открыли мы с женой еще в 1904 году. (Существует и сейчас, и даже очень процвел). Оттуда вместе ходили смотреть „Vedova allegra" в Politeama Nazionale, через улицу, за гроши видели знаменитого комика Бенини, вместе помирали со смеху.

Под Римом солнечный ноябрьский день с блаженной тишиной Кампаньи проводили на вилле Адриана, на солнце завтракали, запивая спагетти, сыр прохладным Фраскати. (Это вино названо по городку Фраскати). Рядом стоял осел и мило-бесстыдно ревел от избытка сил. Вдали, за серебристыми оливками, в голубовато-златистом тумане сияли горы. Да, есть чем помянуть... Правда, «счастливые дни» — были они счастливы и в 1911 году опять в Риме (где с Павлом Павловичем и его женой Екатериной Сергеевной — весело мы встречали Новый Год). «Образы Италии» и явились плодом этих дней. Их корни в итальянской земле — как все существенное, они рождены любовью. Успех «Образов» был большой, непререкаемый. В русской литературе нет ничего им равного по артистичности переживания Италии, по познаниям и изяществу исполнения. Идут эти книги в тон и с той полосой русского духовного развития, когда культура наша, в некоем недолгом «ренессансе» или «серебряном веке» выходила из провинциализма конца XIX столетия к краткому, трагическому цветению начала XX-го.

* * *

Война перевернула его жизнь. Какие уж там Италии! Он тотчас оказался призван, как артиллерийский

офицер. Сначала в гаубичную батарею на австрийский фронт, потом в зенитную артиллерию. Брата назначили комендантом Севастополя. «Патя» заведывал воздушной обороной крепости. Не знаю, много ли он сбил немецких аэропланов, да и вообще не была ли тогда воздушная война просто детской забавой.

К революции он вернулся в Москву — эти страшные годы мы виделись часто и оба старались, уходя в литературу совсем отдаленную от современности, уходить и от проклятой этой современности.

Читали, выступали в Studio Italiano — нечто вроде самодельной академии гуманитарных знаний.

Вот наше Studio Italiano. В Лавке Писателей вывешивается плакат «Цикл Рафаэля», «Венеция», «Данте». Председатель этого учреждения Муратов. Члены — Осоргин, Дживелегов, Грифцов, я и др. Читаем в аудитории на углу Мерзляковского и Поварской, там были Высшие Женские курсы. В Дантовском цикле у нас и «дантовский пейзаж», и Беатриче, и дантова символика.

Но не в одном этом был «уход» Муратова — как раз тогда начал он свои опыты в художественной прозе — где-то в Николо-Песковском переулке, недалеко от нашего Кривоарбатского. Урывая время от службы в Охране памятников искусства, написал роман «Эгерия», сборник «Магические рассказы» (есть у него еще книга «Герои и героини»).

«Образы Италии» существеннее и благодарней, сама тема их более привлекает. Их место в литературе нашей неоспоримей. Но роман и рассказы, при некоторой бледности, книжности, слишком заметной связи (в языке особенно) с Западом, едва ли не больше еще раскрывают внутренний его мир: смесь поэта, мечтателя и в фантазии — авантюриста. В жизни он был

и практичен, и проникнут внутренно романтизмом. Было в нем и весьма «реальное», но более глубокий слой натуры — тяготенье к магическому, героическому, и необыкновенному — к подвигам, необычайным приключениям, «невозможной» любви. «Этерия» — это Рим XVIII века, действуют там разные шведы, графы, графини, иллюминаты, художники, есть Венеция и окрестности ее, и если персонажи скорей *названы*, чем написаны, все же некая терпкая и пронзающая местами поэзия сочится из этой книги. Можно говорить о маниеризме языка, все-таки обаяние есть.

«Магические рассказы» еще бесплотнее, местами совсем фантастичны и в одиночестве своем, в плетении словесных кружев из фантазий особенно сейчас трогательны: кому, для кого ныне *такое*? А между тем, несмотря на всю зависимость от Запада, рождено это своебразной *русской душой*.

* * *

Почти в то же время, что и Италией, увлекся он древними русскими иконами. Дело специалистов определить его долю и «вклад» в то движение, которое вывело русскую икону XV века на свет Божий, установило новый взгляд на нее — насколько понимаю, тут есть общее с открытием прерафаэлитов в половине XIX столетия. — Во всяком случае знаю, что Павел Павлович сделал здесь очень много (эстетическая оценка иконописи, упущенная прежними археологами).

Иконами занимался он рьяно, разыскивал их вместе с Остроуховым, писал о них, принимал участие в выставках, водил знакомство с иконописцами и реставраторами из старообрядцев (трогательные типы из репертуара Лескова). Помню, водил нас к ним куда-то за

Рогожскую заставу в старообрядческую церковь с удивительным древним иконостасом.

Имел отношение и к работам (кажется Грабаря) по расчистке фресок в московских соборах. Странствовал на север, в разные Кирилло-Белозерские, Ферапонтовы монастыри. Перед началом войны был редактором художественного журнала «София» в Москве — там писал и о Гауденцию Феррари и о древних наших иконах.

• •
•

Во время революции, повторяю, мы часто и дружески встречались. И в Союзе Писателей, в Studio Italiano, Лавке Писателей, заходил он и в огромную нашу комнату с печкой посредине, в Кривоарбатском.

Когда начался НЭП и открылась свободная торговля, иногда мы у нас даже веселились.

«Патя» вынимал пять миллионов, моя дочь, потряхивая полудетскими косичками, бежала на Арбат, возвращалась с бутылкою Нюи.

В один теплый августовский вечер 1921 г., когда в особняке на Собачьей площадке чекисты арестовали весь Комитет помощи голодающим, членами которого мы оба были, Павел Павлович вдруг (с опозданием) появился около дома.

— Куда, куда ты? — крикнул я ему в окно. — Уходи, тут . . .

Но он ухмыльнулся (. . . «ну, Боря, что там . . .»), не замедлил шага. Неторопливо опуская левое плечо политераторски, перешагнул заветную черту, отделявшую нас от свободы.

— Чего там . . . будем вместе.

И первую ночь на Лубянке, в камере «Контора Аванесова» мы провели рядом, на довольно жестких на-

рах. В третьем часу привели молодого Виппера, книгу которого «Тинторетто» я купил здесь в прошлом году, и тотчас вспомнил ту ночь и как Павел Павлович сонно приподнялся, посмотрел на вошедшего, опять усмехнулся, сказал:

— Ну, вот, вот и еще...

Отодвинувшись слегка, указал ему место с собою рядом.

Те немногие дни, что мы провели в тюрьме (нас скоро выпустили) не были еще особенно скучны. Для развлечения — себя и других — мы читали лекции: Муратов о древних иконах, я что-то по литературе, Виппер по истории.

В 22-м году я едва не умер — от тифа. Как и ближайшие мои, Павел Павлович тяжко переживал это.

Верю, что добрым душевным устремлением близких я и обязан почти чудесным выздоровлением.

* *
*

С 22-го года почти все мы, «верхушка из Москвы», оказались за рубежом. Тут пути скрещивались, расходились, опять встречались. Берлин, Рим, Париж. В Риме он и остался. Писал по истории искусства, позже перебрался в Париж, выпустил по-французски «Русские иконы», по-итальянски «Фрате Анджелико», затем книгу о готической скульптуре.

В «Возрождении» писал небольшие, острые иногда политические, всегда своеобразные, и никакого отношения к Италии не имевшие статьи. (например, превосходно написанный «Русский пейзаж») Впрочем, «несвоеобразного» вообще ничего не мог ни говорить, ни писать. С этим умнейшим человеком, которому ничего не надо

было объяснять, можно было соглашаться или не соглашаться, но никак не приходилось его упрекать за« середину», «золотую»: он свегда видел вещи с особенной, своей точки. Один из оригинальнейших, интереснейших собеседников, каких доводилось знать.

Дух некоторой авантюры завлек его в Японию, он писал и оттуда. В Токио оказался без средств, едва добрался до Сан-Франциско, но в Америке сейчас же оправился, стал читать лекции — и вернулся в Париж, точно странник какого-то собственного произведения.

В Париже поселился уединенно и начал огромную новую работу: историю русско-германской войны 1914 года!

Однажды, зайдя к нему, я спросил:

— Ну как, много написал?

— Да-а... порядочно. Я сейчас на две тысячи пятнадцатой странице.

— А всего сколько будет?

— Думаю, тысяч пять. То есть моих, писанных...

Хоть и «писанных», все-таки я подумал: однако!

Но вторая война прервала этот труд. Он переселился в Англию, к которой всегда имел пристрастие. Знал язык, любил литературу ее. Кроме классиков ценил Уольтера Пэтера, Вернон Ли (книга ее вышла по-русски в переводе Е. С. Муратовой). Считаю, что и к Италии у него был родственный с англичанами подход.

В Лондоне написал — как бы вспоминая юношеские свои опыты — часть истории самоновейшей войны (в сотрудничестве с г. Аллен. Если не ошибаюсь, опять русско-германской ее части) — это уже по-английски.

Годы войны провел в Лондоне. Бомбардировки, под конец летающие V 2 измучили и его сердце, и нервы. К счастью, удалось перебраться в Ирландию, в большое имение друзей, в тишину, сельское уединение.

* *
*

Перед первой войной Павел Павлович раскопал удивительного англичанина XVIII века — Бекфорда, написавшего на французском языке полу-роман, полусказку «Ватек»: редкостную по красоте и изяществу вещь. «Ватеком» этим меня пленил. Мы с женой перевели текст. Муратов написал вступительную статью и в конце 1911 года, в Риме у Porta Pinciana я держал уже корректуру «Ватека» — пред глазами моими поднимались стены Аврелиана, за которыми некогда Велизарий защищал Рим.

Павлу Павловичу нравился облик таинственного Бекфорда, автора «Ватека». Нравилось, как уединился он под конец жизни в огромном своем Фонтхилле, приказав обнести все владение высокой стеной, чтобы окончательно отделиться от мира. Там вел жизнь затворническую, отчасти и колдовскую. В «Магических рассказах» появляется у Муратова некий лорд Эльмор, как бы трагический вариант Бекфорда, тоже отделяющий себя стеной от жизни.

Ни на Бекфорда, ни на Эльмора Муратов, конечно, не походил. Все же последние его годы, в большом ирландском имении, в одиночестве, книжном богатстве библиотеки, отшельнической жизни, вызывают воспоминание о его собственном писании, о каком-то недописанном персонаже его литератуы.

Нельзя сказать, чтоб и раньше он обращен был душой к людям — нет, скорее к своим интеллектуальным увлечениям. Хоть и был членом Помгола и даже «пострадал за свои убеждения», но это случайность. Узор его судьбы иной: книги, литература, одинокое творче-

ство — в этом он и преуспевал, как бы разнообразны ни были эти увлечения.

В Ирландии привлекали его две вещи: история — на этот раз он занялся отношениями Англии и России в XVI веке — и садоводство.

Что навело его на эпоху Иоанна Грозного, я не знаю. Но какие-то тропинки неисхоженные он нашел, что-то свое, никем не сказанное, конечно сказал... (это чувствовалось по письмам) — смерть оборвала все. А деревенский дом остался с рукописями его (наклон строк вниз — признак меланхолического склада), с грудою книг по XVI веку.

Садоводство во многом явилось, думаю, из условий жизни (хотя он всегда любил цветы, растения). Это знакомо. Живя в деревне, рядом с большим садом, в одиночестве, охотно занимаешься им, окапываешь яблони, спиливаешь сухие сучья, кусачкой обрезаешь побеги, на время забываешь о надвигающихся бедствиях. Павел Павлыч поставил это в Ирландии на научную почву: выписываются книги, он сам учится — и вот скоро он уже знаток своего дела.

Не только запущенный старый сад обратился в образцовый, но даже соседи приезжали учиться плодоводству и садовой премудрости.

Друзья — владельцы имения нередко уезжали в дальние путешествия. Из-за болезни сердца Павел Павлович никуда не мог тронуться.

И раньше, в молодые годы, он чувствовал некое расположение к простым, народным людям. Теперь сближался еще более. Его считали не совсем обычным — что и верно. «Профессором» назвали в околотке. Может быть, для ирландских земледельцев был он отчасти и таинственным заморским персонажем.

Будто в некоей литературной постановке, последний его час пришел в одиночестве. Он скончался от сердечного припадка, безболезненно и мирно, как и жил. Как и у лорда Эльмора, при нем находился только француз-повар, недавно выписанный из Парижа.

1950.

«ДУХ ГОЛУБИНЫЙ»

(К. В. Мочульский)

Худенький, живой, с милыми карими глазами — таким и остался в памяти от того лета Константин Васильевич Мочульский. Солнце Канн, зеленая тень платанов над кафэ перед морем, теплый ветер, радостное загорелое лицо, а позже автобус в Грасс к Бунину, среди природы почти тосканской.

Я его мало тогда еще знал, но ощущение чего-то легкого, светлого и простодушного сразу определилось и не ушло с годами, как ушло солнце и счастье юга. Мы виделись в тот раз недолго, но одинаково любили море, блеск ряби солнечной в нем, одинаково чувствовали странствия и прекрасные страны: оба преданы были Италии, он знал и Испанию, тоже ею восторгался.

Позже, в Париже, медленно входил он в нашу жизнь. Сначала на горизонте, как приятный, изящный собеседник, незлобивый и просвещеннейший, с родственными интересами. А потом, в войну и житье под немцами — вдруг и сильно придвинулся.

Было тогда чувство большого одиночества. Полупустой Париж, кровь, насилия и истребления — оставалась кучка людей, которых никакие режимы не могли переделать. Ясно, что более, более мы тяготели друг

к другу, люди страннического и вольного духа, единившиеся в религии и искусстве.

С этих лет что-то братское и родное появилось для меня в нем (мы даже называть стали друг друга по иному, ласково-шутливо).

Мрачные, полуголодные, нервные годы. Но встречи с ним светло вспоминаются. Он приходил к нам, мы обедали, потом вслух читали: я ли ему мое писание, он ли мне главы из «Достоевского». Я, жена, он — мы были трое, упорно наперекор окружающему твердившие что-то свое.

Наше содружество выдерживало. Мы по своему жили. По улицам могли шествовать патрули, в одиннадцать надо быть дома, в любой миг могла взвыть сирена — бомбардировка прервала бы чтение: все-равно, пока тихо и есть время домой возвратиться, он слушал тринадцатую песнь «Ада» по-русски или отрывок из романа, а я о женитьбе Достоевского или о князе Мышкине. Мы были писатели закоренелые, но и братья.

А летом пришлось жить вместе в Бургундии, вместе с архимандритом Киприаном, «насельниками» в дружеском русском доме, вместе гулять, собирать грибы, восторгаться природой, иногда любоваться детскими чертами горожанина-Мочульского, который любил горячо закаты, тишину леса, но отличить подосиновик от боровика или колос пшеницы от овса весьма затруднился бы.

* *
*

Семьи у него не было, он жил один, вечный странник, но не совсем одинокий: вместо семьи друзья. Может быть, даже, в них семья для него и заключалась — не по крови, а по душевному расположению. Он любил дружбу и в друзьях плавал. Были у него друзья и

мужчины, и женщины, женщин больше — маленькая, верная республика, клан, небольшое племя. Корысти быть не могло: «нищ и светел» — этот отсвет единственная корысть его друзей. Он давал только себя — излучение чистой и тонкой души.

Как человек одаренный, был на себе сосредоточен, был очень *личный*, но дружбу принимал близко. Без нее трудно ему было бы жить. А жизнь он любил!

Родом с юга России, нес в себе кровь исконно-русскую (предки со стороны отца священники), и греческую — мать гречанка. Вышел русским, но и «средиземноморским». (... «А я больше всего на свете люблю море, Средиземное море Одиссея и Навзикаи»). Сколько мы с ним мечтали о странствиях! По любимой Италии, по Испании, где ему (при всей скромности средств) удалось побывать, по Греции.

Но путешествия теперь просто фантазия. Жизнь же идет куда ей надо. В ней друзья, рядом с любовью и радостью, несли и страдание. В те годы погибли ближайшие его — мать Мария (Скобцова), ее сын Юра, студент. Оба в лагерях немцев.

Можно думать, что в этих потерях проступило и для него самого нечто смертное. Внутренно он не оправился. Летом 43 года тяжело заболел — очень долго лежал у друзей под Парижем.

* *
*

Был уже автором книг — и значительных — о Гоголе, Соловьеве, Достоевском (в рукописи). Замышлял нечто о Блоке. А душевный сдвиг давно определился, путь избран — христианский. Он уже не эстет довоенного Петербурга, а «чтец Константин». В церкви Лурмель читает в стихаре Шестопсалмие, Часы. Только что не монах. А если б и постриг принял, не приходилось

бы удивляться. Но жизнь кратка, дни малы. Недуг развивается.

И он вне обычной жизни. Помню его в санатории Фонтенбло, — сумрак зеленых лесов с папоротниками, сумрак неба и дождь, и он худенький, слабый. Но рад, что приехал «свой».

— Правда, у меня лучше вид?

Лучше, лучше. Посидим, побеседуем под шум дождя, потом он проводит до большой дороги в огромных платанах (дождь перестал) — и задыхается уже, но, конечно, ему лучше. Всегда должно быть лучше. И не надо противоборствовать. С тем и уедешь. С тем уехал однажды и он сам в дальний пиринейский край, столь целебный для туберкулезных.

Одно время казалось, что край этот вылечит. Зима прошла хорошо, весной он вернулся, жил под Парижем, считая, что уже оправился. Но к осени стало хуже. Снова надо в Камбо.

* *
*

В старых письмах всегда раздирательное — образ прошлого, неповторимого. Что сказать о писании близкого человека, одиноко вдали угасавшего — и угасшего?

Друзья не оставили его. К нему ездили, при нем жили, и какую радость это ему доставляло! («Так мне больно без Ромочки». — Она побыла у него сколько могла и уехала. «Но нужно уметь всем пожертвовать. И от этого увеличивается любовь»).

Он, конечно, переживал свою Гефсиманию: с приливами страшной тоски, потом просветлением и примирением — опять богооставленностью и унынием. «Бывают дни скорбные, с мутной и горячей головой, когда с утра до вечера лежишь с закрытыми глазами,

а бывают и благодатные часы, когда чувствуешь близость Господа и становится так радостно».

Рома рассказывала нам, возвратившись:

— В нем точно бы два мира. Физическому так тяжко, такая печаль в глазах, а духовный все выше, точно предвидит свет.

И еще: когда солнце заходит и краснеющий лучик передвигается рядом на стене, он с такою любовью за ним следит. «Прощается».

Да, жизнь любил. Но в предсмертных томлениях и испытаниях все принял и примирился. Это уж несомненно — и в письмах, и по рассказам. Исповедывался, причастился прекрасно. А еще раньше писал: «Одышка такая, что трех шагов не могу сделать. И все же лежу и не горюю — рад принять из пречистых рук Господних и жизнь и смерть».

От Бога и смерть — радость. В письмах же, чем далее, чем рука слабее, тем тон выше, обращенья нежнее. (В последнем уже прямо: «Возлюбленные мои . . .»).

Что испытал, что пережил, этого до конца-то мы не узнаем. Но образ отхода ясен: умирал на руках двоих близких ему, в духе того, что говорится на ектении: «христианския кончины . . .»

По другому и не могло быть. Такой был, к такому шел.

«Поистине, как голубь, чист и цел
«Он духом был: хоть мудрости змеиной
«Не презирал, понять ее умел,
«Но веял в нем дух чисто голубиный».

Тютчев сказал это сто лет назад о Жуковском. А вот осталось, применилось лишь по иному. Суть все та же:

«Лишь сердцем чистые — те узрят Бога».

1948.

IV

ПАСТЕРНАК В РЕВОЛЮЦИИ

Пастернак был уже взрослым, но молодым, когда началась революция. Вырос он в семье культурной и интеллигентной — его отец был известный художник-портретист Леонид Пастернак, довольно близкий ко Льву Толстому и лично и по душевному настроению. Писал он и портреты Толстого, сделал рисунки к «Воскресению».

Мать писателя была музыкантша и Борис Леонидович с детства знал и любил музыку, одно время собирался даже стать профессиональным музыкантом. При всем том получил отличное образование в России, заканчивал его в одном из германских университетов. Знал несколько иностранных языков.

Очень молодого я не знал его лично. По позднейшим своим впечатлениям могу представить себе Пастернака юного угловатым, темпераментным, внутренне одиноким, ищущим и пылким. Равнодушия и серости в нем никак не могло быть. Был он искателем — таким и остался. И поэтом — таким тоже остался. А путь выбрал литературный. В путь этот вышел в самую трудную пору: ломки и переустройства всего в России, грохота рушащегося, крови, насилия, новизны во что бы то ни стало — в ту бурю, которая никогда не благоприятна художникам и поэтам, да и вообще натурам художническим, склонным к одиночеству и созерцанию.

* *
*

С первых же шагов революции в литературе русской дико зашумели футуристы. Появились они еще в до-революционные предвоенные годы России, полные сумрачного тумана и предчувствия грядущих потрясений. Но футуристам-то потрясения и нужны были: на них легче выскочить, прошуметь, прославиться, чем в мирное время.

Еще до войны надевал Маяковский шутовские куртки из разноцветных лоскутов, его приверженцы размазывали себе лица разными красками и своим зычным голосом орал этот Маяковский: «Долой Пушкина! Сбросить его с корабля современности!»

На банкете в самом начале революции, еще «февральской», еще «бескровной», Маяковский, вождь футуристов, учинил зверский скандал и все это как-то сошло ему безнаказанно, наглость победила еще оставшуюся благопристойную либерально-культурную Россию. А чем дальше, тем дело шло все хлестче. Маяковский мгновенно пристроился к победителям, кричал еще громче, вокруг расплодились подголоски, появились разные «заумные» поэты вроде Хлебникова, появилась литературная группа «имажинистов» («образ», «имаж» — сравнивали луну с коровой, вот как ярко).

Это было самое разудалое и полоумное время революции, когда разрушали церкви, а на площадях ставили наскоро слепленных из плохого гипса Марксов и Энгельсов — одна такая пара, помню, просто растрескалась в Москве от мороза, а потом растеклась под дождем, как снежная кукла от весенних лучей.

Это было очень страшное время — террора, холода, голода и всяческого зверства. Из виднейших писателей многие уже эмигрировали — Мережковский, Бунин,

Шмелев. Но в Москве оставалась еще группа писателей культурно-интеллигентской закваски, державшаяся в стороне от власти, кое-как выбивавшаяся сама. У нас был даже в Москве Союз Писателей и — по парадоксу революции — престиж «литературы» еще крепко держался у власть имущих — нам отвели особняк «Дом Герцена», где мы и собирались. Ни одного коммуниста не было среди наших членов.

Пастернак в нашем Союзе не состоял, хотя коммунистом не был, по культуре подходил к нашему уровню.

Так что в Москве существовали как бы две струи литературные: наша — Союз Писателей, с академическим оттенком и без скандалов, и футуристическо-имажинистская — со скандалами. Мы находились в сдержанной, но оппозиции правительству, они лобызались с ним, в самых низменных его этажах: в кругах Чеки (политическая полиция).

Власть слишком еще была занята тогда международным своим положением, гражданской войной, подавлением восстаний, грабежом, чтобы обращать внимание на нас, кучку интеллигентов-писателей, устраивавших свои чтения в Доме Герцена. Мы пользовались даже некоторой свободой. Бердяева не засадили за бурную и блестящую книжку «Философия неравенства» — против коммунизма (она вышла в самом начале революции, когда существовали еще частные издательства). Айхенвальд прочел у нас в Союзе в 1921 г. восторженный доклад о Гумилеве, только что расстрелянном за контрреволюцию в Петрограде. Троцкий ответил на это чтение Айхенвальда статьей «Диктатура, где твой хлыст», но ни Айхенвальда, ни Союз наш все же не тронули.

Подошла и полоса «Нэпа», некоторого вообще послабления, и нам, старшим писателям, разрешили от-

крыть свою Лавку Писателей, кооперативную, где мы могли торговать старыми книгами самостоятельно, не завися от власти. Это дало нам возможность не умереть с голоду.

Были в этой жизни революционного времени любопытные черты. Печататься открыто мы уже не могли. Писали от руки небольшие свои вещицы, тщательно выписывая, украшали обложками собственного изделия, иногда рисунками и продавали в нашей же Лавке. Подбор таких рукописных произведений попал тогда же в Румянцевский Музей (ныне Публичная Библиотека в Москве). Не знаю, сохранились ли там эти образцы как бы «подпольной» литературы (но политического в них не было).

Во все эти ранние годы революции позиция Пастернака была довольно странная. Он сидел где-то безмолвно. Ни в каких выступлениях и бесчинствах футуристов и имажинистов участия не принимал. Не выступал в подозрительных кафе, куда набивались спекулянты всякого рода, а «поэты» типа Маяковского и подручных его громили этих же разжившихся на спекуляциях «нэпманов» (так называли тогда новых буржуа революции). А тем это как раз и нравилось, они аплодировали и хохотали.

Такие кафе были очень в моде. Там торговали тайно кокаином и в сообществе низов литературных и чекистов устраивались темные дела, затевались грязные оргии. Это было время Есенина и Айседоры Дункан, безобразного пьянства и полного оголтения.

Ни к чему т а к о м у Пастернак не имел отношения. Кроме его собственной натуры, за ним стояла культурная порядочность отца и матери, а вдали где-то легендарная тень Льва Толстого. Но в писании своем тогдашнем все же тяготел он к футуризму и имажи-

низму. Что влекло его к этому? Позже он скажет: «В годы основных и общих нам всем потрясений я успел, по несерьезности, очень много напутать и нагрешить». В этом «позже» он очень строг к себе, даже чрезмерно. (Опять тень Толстого и «золотого века» русской литературы — склонность к покаянию).

Но тогда, при кипучести его натуры, ему вполне естественно было увлекаться некоей словесной новизной и невнятицей, увлекаться и чрезмерностью сравнений. Стихи его, того времени, сколько помню, являлись некиими глыбами, в первозданном положении, не сведенные к гармонии. Да и вообще «гармония» не подходила к тому времени, полному крика и дисгармонии.

* *
*

Я не знал того круга людского, где Пастернак вращался. Единственной точкой соприкосновения была известная поэтесса, тогда еще молодая, Марина Цветаева. Принадлежала она к «левому» литературному течению тогдашнему, но выступала с чтением своих стихов и у нас в Союзе. У нее было какое-то душевное соответствие, или родство с Пастернаком тогдашним, но литературные пути их оказались разными. Она, чем далее, тем становилась вычурнее, он, напротив, в созревании своем шел к простоте — великой силе великого века литературы нашей, девятнадцатого.

Не помню я Пастернака и у нас в Лавке Писателей. У нас бывал Андрей Белый, даже писал что-то тоже от руки. Как почетный гость — Александр Блок, в 21 году, незадолго до кончины. Есенин, в шубе и цилиндре на голове — так мало это шло к его простенькому лицу паренька из Рязанской губернии! (Он тогда спивался вместе с Айседорой Дункан и водил компанию с очень подозрительными людьми).

Но вот — все-таки с Пастернаком я был знаком, где-то бегло встречались, а потом встретились у меня, в огромной моей комнате, где жил я с женой и дочерью, подтапливая печку посреди комнаты, сложенную каменщиком, с железной трубой через все помещение.

Встреча с Пастернаком особенно мне запомнилась потому, что уж очень отличалась от другой литературной встречи, с «заумным» поэтом Хлебниковым, в этой же комнате, но несколько раньше.

Хлебников принадлежал к какому-то подразделению футуризма, но «тихого». Его считали (правда, немногие), «необыкновенным». Радость поэзии, насколько помню, заключалась для него в подборе бессмысленных слов, звучавших какой-то музыкой. По «необычности» и «новизне» это подходило к революционной эпохе, по содержанию нисколько. Но у него были все-таки некие связи с властями, и у него самого, с его последователями был даже автомобиль, на котором вывесили они плакат:

— «Председатели Земного Шара».

Почему он забрел ко мне, не знаю. Сам этот председатель был довольно скромный молодой человек, бедно одетый, несколько идиотического вида, смотрел больше в землю и говорил негромко. Чем-то он мне даже нравился: вероятно, беззащитностью своей и детскостью. Если память не изменяет, именно тогда и предложил мне прокатиться на всемирном автомобиле, все так же диковато и застенчиво поглядывая вниз на пол. Председатель Земного Шара! Звучит хорошо, все-таки я поблагодарил и отказался.

— Ну, тогда приходите к нам на Мясницкую. Там наши соберутся. Будут стихи. Но и от старших, серьезные люди. От символистов Вячеслав Иванов.

Он вздохнул и как-то задумчиво добавил:

— Будет очень учено и очень похабно.

Почему похабно, не объяснил. Я и не настаивал. Сам по себе молодой человек никаких безобразий не творил. Но сотоварищей его я представлял себе живо, тем более, что как раз не так давно Пильняк звал меня на вечер в загородном доме известного в Москве скульптора, где должны были быть Есенин, Дункан и выпивка. Я позже узнал, что там кончилось безобразным скандалом — о нем и написать невозможно. К Хлебникову и его друзьям я тоже не поехал.

Посещение Пастернака (тогдашнему Пастернаку могли нравиться стихи Хлебникова) — было совсем в другом роде. Ни автомобиля у него не было, ни Председателем Земного Шара он себя не считал. Этот высокий, с крупными чертами лица, несколько нескладной фигурой, крепкими руками и нервными, очень умными глазами тридцатилетний человек принес мне свою рукопись: отрывок произведения в прозе. Рукопись тоже походила видом на хозяина своего: написано крупным, размашистым почерком, нервным и выразительным. Пришел он как младший писатель к старшему, показать образец своей прозы — он этим доселе мало занимался, а я много. Не был я ни редактором, ни издателем, ни каким-нибудь другом правительства. Жил более чем небогато. Так что практического значения в том, что он принес мне рукопись, не было для него никакого. Я даже не мог угостить его порядочным завтраком или обедом — быт революционных эпох беден.

Мы сидели у окна, за моим столом, где лежали мои рукописи, говорили о литературе в простом дружеском тоне, а жена моя хозяйничала около той же каменной печки посреди комнаты. Десятилетняя наша дочь, в зимней ушастой шапке, только что вернулась из советской школы, скромно складывала свои тетрадочки,

потряхивая двумя косицами с бантиками. А Пастернак, при всей своей склонности к самоновейшему, «передовому» в литературе, тоже скромно и совсем не по футуристически со мной разговаривал. Он был ровно на девять лет, день в день моложе меня, но ему вообще был свойствен дух молодости, открытости и прямодушия. Будто свежий морской ветер. «В Пастернаке навсегда останется юность», сказала знаменитая наша поэтесса Анна Ахматова. Очень верно, насколько могу судить издалека. Молодое и открытое, располагающее.

Рукопись оказалась отрывком из довольно большого повествования. Описывалось детство на Урале, на горном заводе. Подробностей не помню, но общее впечатление такое: никакого крика, никакого футуризма, написано человеческим, а не заумным языком, но очень по-своему. То есть — ни на кого не похоже и потому ново. Ново потому, что талантливо. Талант именно и выражает неповторимую личность, нечто органическое, созданное Господом Богом, а не навязанное никаким направлением литературным.

Насколько знаю, те главы, которые он тогда приносил, вошли в повесть «Детство Люверс», изданную позже в советской России, но гораздо раньше «Доктора Живаго». У меня нет этого «Детства Люверс». Весьма подозреваю, что все это были подходы, еще довольно несмелые, к позднейшему «Доктору Живаго». Можно было самым искренним образом — что я и сделал — приветствовать нового сотоварища по прозе, но никак нельзя было предугадать будущую судьбу этого молодого писателя с крупными чертами лица, крупным телом, неловкого и привлекательного, несущего в себе большой духовный заряд. Нельзя было предугадать и его будущую мировую славу.

* *
*

Осенью 1922 г. почти все Правление нашего Союза выслали заграницу, вместе с группой других профессоров и писателей из Петрограда. Высылка эта была делом рук Троцкого. За нее высланные должны быть ему благодарны: это дало им возможность дожить свои жизни в условиях свободы и культуры. — Бердяеву же открыло дорогу к мировой известности.

Берлин 1922 года оказался неким русско-интеллигентским центром. Туда как-то съехались и высланные, и уехавшие по своей воле (Андрей Белый, Пастернак, Марина Цветаева). Из Парижа, пробираясь уже из эмиграции в Россию, попал туда и гр. Алексей Толстой, впоследствии придворный Сталина и один из первых литературных буржуев советской России.

В Берлине Пастернака я встречал очень бегло, кажется, на литературных собраниях, в кафе Ноллендорфплатц. Да все это продолжалось и недолго: в 23 году начался разъезд. Одни выбрали направление на Италию—Париж, другие вернулись в Москву. Три последних были А. Толстой, Андрей Белый и Пастернак. Там судьба их сложилась по разному. Алексей Толстой нажил дом, автомобили, возможность кутить и пьянствовать сколько угодно и сколько угодно пресмыкаться перед Сталиным. Андрей Белый, всегда склонный к левому в политике, тоже старался изо всех сил, но ничего не вышло. Облику его не соответствовали дачи, деньги, безобразия — ловкачем и подхалимом он никогда не был. Писания же его, фантастический склад души и необычный язык казались там смешными и непонятными, а потому ненужными. Жизнь его в России была очень тяжела. Он скончался в тридцатых годах.

Судьба Пастернака оказалась самой сложной (из вернувшихся в Россию тогда писателей). Уклонов «вправо», в смысле политическом, у него никогда не было. Скорее левое устремление свойственное ему с молодых лет. Насколько знаю, есть у него и произведение в таком духе («Лейтенант Шмидт»). Думаю, октябрьский переворот 1917 года он принял, но чем дальше шло время, тем труднее ему становилось. Очень уж он оказался самостоятельным, личным, неподдающимся указке. О том, что переживал внутри, судить трудно, но по роману «Доктор Живаго» и некоторым частным высказываниям можно о многом догадываться. Сыну художника, близкого Льву Толстому, выросшему в воздухе высшей культуры того времени, никак не по дороге с террором, кровью и диким насилием «сталинской эпохи».

В 1937 г. Пастернак едва ли не единственный среди писателей в Советской России не подписал петиции писательской о смертной казни целой группы прежних большевиков-интеллигентов, неодобрявших в чем-то Сталина. Надо иметь понятие о жизни в тогдашней России, о беспредельной подавленности людей деспотизмом, чтобы достаточно оценить мужество писателя, сказавшего наперекор всему: «нет».

В это время была беременна его жена. Легко ли ему было сказать это «нет»? Сам он признает особый свой склад, требующий необычайной «свободы духовных поисков». Конечно, он понимает, какой он «неудобный» муж, отец, глава семьи. Но вот все поставил на карту, не побоялся — и выиграл. Его не тронули. Правда, и не печатали ничего, кроме его переводов — переводил он и Шекспира, и Гете (теперь, как будто, Рабиндраната Тагора).

Нелегкие для него годы. Но они, конечно, заново перепахали его душу. Теперь он далеко не тот, каким был в молодости. Трудно представить себе, чтобы тот Пастернак, которого некогда встречал и в Москве, позже в Берлине, писавший косноязычные, хаотические стихи, мог писать на Евангельские темы! А написал — опять все по-своему, но благоговейно.

Да, конечно, он и тогда писал хорошую прозу, но должен был пройти долгий и тяжкий путь, неся крест одиночества, отчужденности, видя страдания вокруг, нечеловеческие беды, среди подхалимов, льстецов, фанатиков и просто негодяев, чтобы придти к Истине Христовой — к любви, милосердию, состраданию и уважению к человеку, к признанию его не роботом и машиной, а образом Божиим.

От своего раннего писания он отрекся. Отрекся и от Маяковского. В Советской России голос покаяния! О, не такого «покаяния», перед «партией», которое нужно для карьеры, а потому ничтожно, лживо и унизительно. Нет, у него — без припадания к стопам власть имущих — голос бескорыстный и внутренний. Некогда Маяковский кричал вместе со своей ордой: «долой Пушкина». Пастернак не кричит, а просто отходит от этого Маяковского — не по пути им.

«Одиночество и свобода» — так определяет, очень верно, критик и поэт Адамович положение писателя русского в эмиграции. Одиночество и не-свобода: так можно было бы сказать о положении Пастернака в России.

* *
*

И вот, неожиданно для всех, появился роман его — «Доктор Живаго». Роман вызвал целую литературу о себе, вышел чуть ли не на всех европейских языках,

получил автор за него Нобелевскую премию — только в России книги этой нет, но представители бесчисленных «республик» СССР, вплоть до ингушей и чувашей, не читавши строчки из этого «Живаго», «строго осудили» его, автора всячески поносили, а один Геростdрат советский в Москве заявил на собрании некоем, в присутствии Хрущева, что Пастернак «хуже свиньи». (Слава этого «товарища» стала мгновенной. Мгновенно и забудется его ничтожное имя).

В действительности «Доктор Живаго» выдающееся произведение, ни «правое», ни «левое», а просто роман из революционной эпохи, написанный поэтом — прямодушным, чистым и правдивым, полным христианского гуманизма, с возвышенным представлением о человеке — не таким лубочным, конечно, как у Горького: «человек — это звучит гордо!» — безвкусицы в Пастернаке нет, как нет позы и дешевой ходульности. Роман, очень верно изображающий эпоху революции, но не пропагандный. И никогда настоящее искусство не было пропагандной листовкой.

1960.

ЕЩЕ О ПАСТЕРНАКЕ

Из его «Автобиографических заметок» я узнал мелочь, послужившую началом переписки; мы родились с ним в один и тот же день месяца, только он на девять лет позже меня.

Я написал ему наудачу и о совпадении, и о другом. С этого и началось. Начался странный, заочный, краткий «роман».

15 марта 59 г. он ответил мне: «Дорогой Борис Константинович, не могу Вам передать . . . как обрадовали Вы меня своим письмом. Наверно никто не догадывается, как часто я желаю себе совсем другой жизни, как часто бываю в тоске и ужасе от самого себя, от несчастного своего склада, требующего такой свободы духовных поисков и их выражения, которой наверно нет нигде, от поворотов судьбы, доставляющих страдания близким. Ваше письмо пришло в одну из минут такой гложущей грусти — спасибо Вам». Ему «чрезвычайно дорого», что я говорю о его книге, но «что бы Вы ни сказали, я все принял бы с величайшей благодарностью». «Как все сказочно, как невероятно! Не правда ли? Пишу Вам, мысленно вижу перед собою и глазам своим не верю. И благодарю и обнимаю» . . .

Его письма ко мне получали здесь большой отклик. Их всегда просили читать вслух. По этому поводу я на-

писал ему о Петрарке. Письма Петрарки из Авиньона во Флоренцию друзьям считались там событием. Получавший созывал друзей, устраивал обед, потом читалось письмо — десерт высокого тона. Разбойники под Флоренцией, грабившие купцов с севера (они-то и возили письма), очень ценили, если в добыче попадалось письмо Петрарки — дорого можно было продать.

Это мое письмо о Петрарке видимо пронзило его. Но ответа я не получил — ответное письмо не дошло. Что оно не дошло, видно из его письма к моей дочери. («Мои восторги пропали по дороге») — да, очевидно, он-то получил и ответил со свойственной ему очаровательно-детской восторженностью, но вероятно начальство решило, что это уж слишком — писать так эмигрантскому человеку.

Переписка все-таки продолжалась. В письме от 4 октября 59 г. он пишет о своей пьесе: «Пожелайте мне, чтобы непредвиденное извне не помешало ходу и, еще отдаленному, завершению захватившей меня работы. Из поры безразличия, с каким я подходил к пьесе, она перешла в состояние, когда баловство или попытка становятся заветным занятием или делом страсти.

«Не надо преувеличивать прочность моего положения. Оно никогда не станет установившимся и надежным».

В последнем письме, февральском, 1960 г. он меня поздравляет со днем рождения. Та же горячность и нежность. Та же детски-открытая душа. (Недаром Ахматова говорила о нем, что он вечно будет молод. Да, он был молод душевно, с большим темпераментом, несомненно. И гневался иногда. И бурно. Как тяжко таким натурам жить под ярмом!)

И вот что еще он пишет в предсмертном письме: «Все это» (мои книги. Я ему посылал, они доходили) «попадает в жадные и дорогие мне руки одной героини-приятельницы, которой порядком за меня в жизни достается и досталось в самом прямом смысле... слова и дела».

...«Но Вам, лично Вам хочется мне сейчас свято и клятвенно пообещать и связать себя этой клятвой, что с завтрашнего дня все будет отложено в сторону... работа закипит и сдвинется с мертвой точки». (Дело идет о пьесе).

* *
*

Не знаю ничего о судьбе этой пьесы. Не знаю даже, окончена ли она. Вернее, что нет. Знаю, однако, что размах ее огромен, кажется, это триптих.

Жизненную же драму знаю, и пред нею почтительно, с грустью склоняюсь.

Да, «баснословный» год. Менее чем через три месяца после февральского письма, 30 мая 1960 г. Борис Леонидович скончался. Для советской власти довольно удобно: неудобный писатель с мировой славой, стоявший поперек горла, ушел. Ну, что же, травили человека, травили после Нобелевской премии, потом лечили, лечили, он и умер. Все в порядке. Осталась могила, горе близких. У меня под иконой пучечек овса с этой могилы. И где-то рукопись пьесы.

Начинается вторая часть драмы. Передо мной фотография, очень хорошая: Пастернак стоит под каким-то деревом, слегка наклонив голову, щурясь, но невеселый. Под руку (правую) держит его русская дама, в кофточке, довольно полная, улыбаясь — улыбкой любви. Слева совсем юная девушка, с приятным русским

лицом, тоже держит под руку, глаза тоже улыбаются, прелестно. Вся она — юность и привлекательность.

Эти двое — Ольга Ивинская и ее дочь. Та Ивинская, в чьи «жадные и дорогие мне руки» попадали мои книги, прежде чем Борис Леонидович начинал их читать. Это Лара «Доктора Живаго», все ясно. Это ее детей (она вдова), Ирину и Дмитрия, опекал Пастернак, когда она сидела в тюрьме при Сталине, а они были еще детьми. Это она, Ольга Ивинская, трепетала за него, когда после Нобелевской премии шавки советской не-литературы лаяли на него, кричали, что он хуже свиньи. Это о ней он сказал, что ей «порядком за меня в жизни достается и досталось».

И предчувствием томился. Слова «достанется» не прибавил, но тревожился очень. Теперь лишь из гроба мог бы увидеть, как судили ее, и осудили, Ирину тоже. Подло судили, при закрытых дверях — осудили на восемь лет мать, дочь на три года. Виновата мать в том, что Серджио Анджело, бывший итальянский коммунист и сотрудник издателя Фельтринелли, через Ивинскую передал Пастернаку деньги из его западных гонораров — и в июле 1960 г. по прижизненной просьбе самого Пастернака некую сумму для нее самой. Ее подвели под 15-ю статью (контрабанда оружием, взрывчатыми веществами, наркотиками и т. п.). А дочь? Дочь упекли за то, что знала и не донесла на мать. Ирина, выслушав приговор, упала на суде в обморок. (Перед этим ей уже поднесли милый подарок: за несколько дней до свадьбы выслали из России молодого француза, ее жениха).

* *
*

Да, фотография эта — Пастернак между Ольгой и Ириной, пронзает. Борис Леонидович в родной земле —

да будет она ему легка. А память о нем, добрая и благодарная, иногда и восторженная, на родной этой земле, столько горестного ему причинившей при жизни, надолго останется. Не вечно будет там и полицейский участок. «Доктор Живаго» — лучшее Пастернака произведение с пророческим стихотворением «Август». (При жизни описал свои похороны так, как они и произошли. И с Ларой при жизни навсегда простился.

«Простимся, бездне унижений
«Бросающая вызов женщина!
«Я — поле твоего сраженья»).

Господь избавил его от зрелища ее последней Голгофы, и Ирининой.

Глядя на них обеих, беззащитных и томящихся теперь «где-то», испытываешь даже смущение. Неловкость какую-то за собственную свободу. Вот ты живешь, ходишь, чувствуешь, любишь, страдаешь, но ты на свободе и в условиях жизни человеческих. А они? Да пошлет им Бог сил. Как написано на одной колокольне скромного итальянского местечка близ Генуи.

— Dominus det tibi fortitudinem.

* *
*

Время идет. Пастернак все далее отходит в Вечность. Три сосны над его могилой все так же шумят в московском ветре. Зимой бюст его будет поставлен на могиле.

И вот все вспоминаешь его — значит, человек обладал тайной прельщения. Почему два раза вслух прочитан «Доктор Живаго» и после него многое кажется серым, неинтересным? Это и есть загадка власти. Ибо нет художника без власти. Только власть эта не навя-

зана, никто не грозит ею, не ведет в участок, а сама она — незаметным образом овладевает. Тютчева никто мне не приказывал ценить, а вот сам он вошел в меня, без окриков, и уж не уйдет.

В рассказе о последних днях Пастернака супруга его передала журналисту, что более всего жалел он, умирая, что не сможет более писать. Писатель, узнаю тебя! Наша болезнь неизлечима. Узнаю и молодость твоего духа, хоть бытие твое достигло уж библейского предела. («Дней лет наших всего до семидесяти лет, а при крепости до осьмидесяти...»). Пастернаку шел восьмой десяток, но в самом начале. Его Живаго, доктор, кажется старше автора (внутренно), более печален и разочарован. (В Москву он возвращается из тайги уже разбитым кораблем). Усталости, печали в самом Пастернаке по его письмам не чувствуешь. Страдал он в жизни много, бурно, но никакого равнодушия и дряхлости к зрелым годам не нажил. Этой зимой близкий мне человек видел его в Переделкине — по его рассказу Пастернак был очень оживлен и бодр.

А литература и искусство глубоко, крепко в нем сидели. Думаю, именно по горячности своей и нездравому смыслу молодости водил он некогда компанию с Маяковским, размахивался и в революцию — что-то ему нравилось во всем этом. Но наступила и расплата. Сам казнит он себя незадолго уже до кончины. «В годы основных и общих нам всем потрясений я успел, по несерьезности, очень много напутать и нагрешить»... «Везде бросались переводить и издавать все, что я успел пролепетать и нацарапать именно в эти годы дурацкого одичания, когда я не только не умел еще писать и говорить, но из чувства товарищества и в угоду царившим вкусам старался ничему не научиться. Как это все пусто и многословно, какое отсутствие чего бы то

ни было, кроме чистой и совершенно ненужной белиберды».

«Моя жизнь далеко не гладкая ... — меня окружают заботы и тревоги и на каждом шагу подстерегают, — выразимся мягко ... — неожиданности. Но среди огорчений едва ли не первое место занимают ужас и отчаяние по поводу того, что везде выволакивают на свет и дают одобрение тому, что я рад был однажды забыть и что думал обречь на забвение».

Судит он свою молодость преувеличенно, строгость жестокая, но насколько же лучше это самолюбования и охорашивания перед зеркалом. В нем этого не было, хотя славу, вернее — любовь людей он все-таки любил ... — но это так по-человечески! «Вообще лучшая награда за понесенные труды и неприятности то, что лучшие писатели века ... книгу читали, кто на других языках, кто в оригинале». «Как все сказочно, как невероятно!»

Поражает его изгиб собственной судьбы: «И только этот баснословный год открыл мне ... душевные шлюзы, но совсем с другого боку. И о Фаусте написал я по-немецки по запросу из Штутттарта, где есть Faust Gedenkstätte (место рождения исторического Фауста), и по-английски о Рабиндранате Тагоре (совсем не восторженно) его биографу в Лондоне, и по-французски о назначении современного поэта, и в Италию. И стало легче. Но как это все странно, неправда ли? Оказывается, можно и думать». То есть, думать, как самому хочется, как думается, а не как велят. «Я послал Вашей дочери Фауста. Вот с каким сожалением и болью сопряжены у меня работы этого рода. Ни разу не позволили мне предпослать этим работам собственного предисловия. А может быть только для этого я переводил Гёте, Шекспира. Что-то редкостное, неожиданное всегда

открывалось при этом и как! Всегда тянуло это новое, выношенное живо и сжато сообщить! Но для... «работы мысли» у нас есть другие специалисты, наше дело только подбирать рифмы».

Да, и Лозинскому, переводчику «Божественной Комедии» в России пришлось соседствовать с предисловием, где Маркс и Энгельс одобряют поэта и дают ему «путевку» в советское издательство. Для Данте понадобились Маркс и Энгельс, а для Фауста в переводе Пастернака пришлось объяснить читателям, во введении, что слово Бог, часто встречающееся в поэме, надо понимать не в том смысле, какой оно имеет, а в особом (смысле «чисто пикквикийском». — Б. З.), т. е. Бог собственно и не Бог, а что-то вроде «силы социальных отношений».

Судьба Пастернака одна из самых удивительных в литературе нашей — с трагическим и героическим оттенком. Уцелеть при Сталине (отказавшись подписать ходатайство писателей о казни целой группы правых коммунистов), высидеть годы в одиночестве Переделкина, вдруг получить Нобелевскую премию, стать из-за «Доктора Живаго» знаменитым на весь мир, так любить Родину, как он, и при громе рукоплесканий иноземных — от «своих» получать заушения как раз в этом 1959, «баснословном» для него году.

Пастернак был человек сильный. Все-таки, такая травля дней не прибавляет. Что же, своего добились. Дни сократили. «Баснословный» год, год мировой славы оказался и последним. Полицейские от литературы могут быть спокойны: Пастернака нет. Вот уже полгода покоится он в родной земле жестокой родины. Превосходные фотографии (иностранные!) запечатлели нам его похороны, и его лицо в открытом гробу — лицо приняло особую, высше-торжественную красоту.

Гроб окружен любящими, любящие несут его на плечах за версту с чем-то на кладбище, в том же открытом гробу, как носили в русской деревне покойников в моем детстве. Русские лица, русские лесочки, березы, мимо которых проходит процессия, русский деревянный мостик, столь убогий в простоте своей — но по нем переходит лента людей благополучно — тысяча с чем-то: все это пронзает. Медленно, но в любви и без серпа и молота подвигается Пастернак к Вечности.

• •
•

Из Москвы прислали моей жене два снопика овса, совсем маленьких, с могилы Пастернака. Оба они лежали у нас под иконами, славные знаки памяти и любви: наш Пастернак, наша земля взрастила его, как и этот смиренный, иссохший овес.

И вот нас посетила иностранка, переводчица и поклонница Пастернака, графиня Пруаяр. Жена передала ей снопик. Та обняла ее и поцеловала. Французские глаза так же наполнились слезами, как заполняются и русские. И это хорошо. И это радостно. Франция прижала к сердцу бедный снопик русского овса и унесла его как память, как знак любви.

1960—1961.

ДРУГИЕ И МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Прочитал список погибших («Известия Литер. Фонда») — все писатели, поэты, критики: «арестован», «пропал без вести», «расстрелян», «покончил с собой». Список длинный, есть имена общеизвестные, некоторых знал лично.

Есенина помню юношей-пастушком, кудреватым, довольно славным, но не моего романа. А потом заходил он к нам в Лавку Писателей на Никитской уже в шубе, чуть ли и не в цилиндре, залихватски и совсем в моветонном роде. Начиналась его история с Дункан — для обоих бесславно кончившаяся.

Борис Пильняк был рыжеватый литератор, приходил иногда ко мне, в нем всегда чувствовалось пестрое, мутное. Природных сил довольно, а как их прилагать неведомо. Прежний стиль свой (довольно бледный) он сменил на нечто по наследству от Белого. Получилась сумятица, с темпераментом, но без толку. Ему нравилось земляное, плотское. В революции привлекала стихия и разнузданность, думаю, нравился ему и разбойный дух ее — т. е. первых ее шагов.

Однажды мы выходили с ним из моей квартиры в Кривоарбатском: был вечер, мрачно.

— Вам вот кровь не нравится, — говорил он. — Насилие. А на крови и насилии вся жизнь, вся история. Нельзя без этого. Возьмите Петра Великого. Они правы.

— Все равно, ненавижу. С детства терпеть не мог и уж теперь навсегда. Никогда не приму.

— Да, конечно, вам неподходяще.

Потом через минуту.

— Поедем к Коненкову. У него отличная мастерская. Там будет Есенин, Дункан, имажинисты. Выпивка настоящая.

У меня был свой круг, веселились иной раз и мы, но по другому, и чокались по другому. С имажинистами я не пожелал.

Позже и оказалось, что в тот вечер творились в мастерской Коненкова великие безобразия. Напаивали Есенина и Дункан, и прочее, прочее ... — подробности нерасказуемы ...

Прошло время. Пильняк очень прославился. Ездил по всему свету (не по-эмигрантски), в Америке ему устраивали банкеты, говорили речи. Но потом как-то вышло, он написал «Повесть о непогашенной луне» (смерть Фрунзе после «приказанной» операции) — и со своим своеволием, стихийностью земляной, резкостью попал в немилость. А там в ссылку и под пулю ... «На крови и насилии вся жизнь, вся история. Нельзя без этого».

А Есенин, дарование простодушное и пронзительное, но изломанное, тоже русский безудерж, тоже в конце концов нигилизм — Есенин в петлю.

Страшное время. Аминь, аминь, разсыпься.

* *
*

Абрам Эфрос, секретарь Союза Писателей в Москве. Это просто интеллигент, быстрый, многоречивый и предприимчивый, с тонким, изящным лицом, большими глазами, в бархатной артистической куртке — свой че-

ловек, но примитив, его дружески звали «Бам», он всегда в хлопотах, что-то устраивает, читает и пишет, увлечен искусством и литературой (у меня сейчас в руках его книжечка «Автопортреты Пушкина», 1945 г.).

— Ах, Бам Бам, отчего не выслали вас в 22 году вместе с профессорами, писателями в Германию? Были бы вы и сейчас живы. Писали бы в «Новом Журнале», «Новом Русском Слове», и так как вы много моложе нас, принимали бы из рук старших, коих недолог уж век, завет свободы, человечности, творчества — всего наследия литературы нашей. — Но вас не выслали. «Абрам Эфрос, искусствовед, пропал без вести».

Вспоминаю вас — оплакиваю.

* *
*

Две барышни, худенькие и миловидные, в одинаковых платьицах, читают с эстрады стихи — вдвоем, в унисон. Одна Марина, другая Ася, дочери профессора Цветаева (основателя Музея Александра III-го в Москве).

Стишки острые, колкие, барышни читают-щебечут, остроугольно, слегка поламываясь. Не только напев в унисон, но и улыбки, подергивания нервных лиц. Никакого спокойствия, основательности. Но к тогдашнему это подходило, даровитость же чувствовалась.

Вспомниая то время, пред-революционное, поражаешься, сколько было поэтов, художников, философов, писателей, «богоискателей» . . . Марина и Ася тонули в артистическо-литературной среде: почти гимназистки!

Но вот Марина уже повзрослевшая, уже замужем за Эфроном (с удивительными глазами), уже у нее дочь Аля. В нашем кругу небезызветна. Автор более зрелых и своеобразных стихов, ходит к нам в гости, по-

маргивая глазами — нервными, острыми — восторгается Гейне, Германией, одновременно и Ростаном. Читает на вечерах нашего Союза, в доме Герцена. (Подарила мне бюст Пушкина, отцовский еще, огромный. Он стоял на моем шкафу, под него я клал миллионы рублей, на которые можно было купить бутылку вина, два фунта масла. Позже Пушкин этот переехал в Союз Писателей, белыми гипсовыми глазами смотрел, тоже со шкафа, как Марина стрекочет свои стихи — им я тогда покровительствовал).

Но жила она невозможно. Эфрон был «белый», где-то на юге, верно в эвакуации. Она одна с Алей, в квартире покойного отца, от нашего Кривоарбатского недалеко.

Этого всего не забыть. Везу по московскому снегу на салазках дровишки — у Марины с девочкой —1 градус. Квартира немалая, так расположена, что средняя комната, некогда столовая, освещается окном в потолке, боковых нет. Проходя по ледяным комнатам с намерзшим в углах снегом, стучу в знакомую дверь, грохаю на пол охапку дров — картина обычная: посредине стол, над ним даже днем зажжено электричество, за ним в шубке Марина со своими серыми, нервно-мигающими глазами: пишет. У стены, на постели, никогда не убираемой, под всякою теплой рванью Аля. Видна голова и огромные на ней глаза, серые как у матери, но слегка выпуклые, точно не помещающиеся в орбитах. Лицо несколько опухшее: едят они изредка.

Марина благодарит, но рассеяна, отсутствует. Верней, занята своим. А вот чем: крупными, почти печатными буквами переписывает произведение кн. Волконского (его писанием тогда увлекалась). Остальное неважно. Печка так печка, дрова так дрова.

— Аля, сиди смирно, опять ты там возишься . . .

— Мама, я крысов боюсь, вон опять за шкафом пробежали. Ты уйдешь, они на кровать ко мне вскочат...

— Глупости, ничего не вскочат...

Это Але виднее, но Марина не может сидеть с ней целый день. Обычно уходит, запирает на ключ, вот и жди в холоду с крысами маму.

Иногда Алю приводят к нам, она подружилась с моей дочерью. Ее кормят, отогревают. Ее огромные, серо-выпуклые, с водянистым оттенком глаза смотрят веселей, она играет и хохочет с Наташей.

Весной решили взять ее на месяц в деревню — подкормить, подправить.

Мою мать не выселили еще из именьица, она жила в своем доме, очень скромно, но в сравнении с Алей совершенно роскошно. Молоко, яйца, масло, даже и мясо!

Как дочь поэтессы и девочка вообще даровитая, Аля вначале и вела себя поэтессой: видела необыкновенные сны, сочиняла стихи («Под цыганской звездою любви», — ей было лет семь, она отлично подражала Марине).

Сидя утром в столовой за кофе с моей матерью, она рассказывала, что во сне видела три пересекающихся солнца, над ними ангелов, они сыпали золотые цветы, а внизу шла Марина в короне с изумрудами.

— Нет, знаешь, у нас дети таких поэтических снов не видят. Или ты каши слишком много на ночь съела, или просто выдумываешь.

На другой день, за этим же кофе, Аля рассказывала новый сон. Но теперь это был просто Климка, вез навоз в двуколке.

— Вот это другое дело...

Через месяц уехала Аля в Москву загорелая, розовая — неузнаваемая.

* *
*

Марина очень любила мужа, Сергея Эфрона. Когда Аля гостила у нас в Притыкине, Эфрон был белый офицер. Марина возводила белизну его в культ, романтически увлекалась монархизмом, пожалуй, соединяла ростановского «Орленка» со своим Сергеем... Стихи писала соответственные.

Началась и для нее эмиграция. И вот Эфрон оказался не прежним белым принцем в поэтическом плаще, а чем-то совсем иным... Как многие тогда, перешел к победителям. Да попал еще в самое пекло... От бывшего белого офицера много потребовали.

Тяжело говорить об этом — приходится. Я когда-то его знал лично, этот изящный юноша с действительно очаровательными глазами никак не укладывался в «сотрудника», да еще какого учреждения! Но вот уложился. Но вот принимал здесь участие в темном деле — убийство Рейсса — после чего оставаться во Франции стало неудобно. Он и уехал в Россию.

Как относилась Марина ко всему этому? Не могу сказать. Знаю, что стала не той, что в Москве. Мы разошлись вовсе.

Аля выросла, обратилась в готовую коммунистку. И уехала тоже в Москву. Марина довольно долго влачила здесь одинокую жизнь, от эмиграции отошла, к «тем» целиком не прикрепилась... — но в Москву все-таки уехала. Это понятно. Что было ей делать в Париже? А там муж, дочь, сын. (Кое-где все-таки и тут печаталась. Стихи ее приобрели предельно-кричащие ритмы, пестрота и манерность в слове, истеричность и надлом стали невыносимыми).

В Москве же «вкусила мало меду». Эфрон, видимо, погиб. (С Рейссом вышла неудача, слишком много шу-

ма — неудач там не прощают). С Алей близости не было. Пробовала печататься — разругали и дальше ходу уж не было. Одиночество, покинутость. Наступали немцы (авг. 1941 г.). Эвакуация, безнадежность.

Осенью 41 года, не знаю точно когда, Марина покончила с собой.

* *
*

«Да воскреснет Бог и да расточатся враги Его».

Кто из нас смеет учить кого-то, кто жизнью заплатил за ошибки?

Но сказать — где правда, и где неправда — мы можем. Может быть, даже должны крикнуть:

— Отойдите! Не дышите парами серы! «Аминь, аминь, рассыпься!»

1950.


V

ПАМЯТИ ИВАНА И ВЕРЫ БУНИНЫХ

Перед войной случалось иногда бывать на юге Франции — в Грассе жил Бунин (прелестная вилла Бельведер — простенькая и нехитрая, но с площадки перед домом такой вид на равнину к Канн, на горы Эстерель направо . . . А внизу черепичные крыши Грасса, Собора. Некий тосканский дух чувствовался во всем этом).

Мы гостили у Буниных — и довольно подолгу. Хорошие дни. Солнце, мир, красота. Во втором этаже жили мы с женой, я кое-что писал. Рядом комната Веры Буниной. Внизу, в кабинете своем, рядом со столовой — Иван. Выбежит в столовую, когда завтракать уже садимся, худой, тонкий, изящный, с яростью на меня посмотрит, крикнет:

— Тридцать лет вижу у тебя каждый раз запятую перед и! Нет, невозможно!

И с той же яростью, чуть не тигриной легкостью захлопнет дверь, точно я враг и нанес ему смертельное оскорбление.

Я не пугаюсь — слишком хорошо его знаю. Он и на Веру кричит (свою), и на себя самого. А кроме того, с «юности моея» он мне нравился эстетически, художнически. Натуру его знал я отлично, чего можно, чего нельзя от него ждать — все известно. А вот нравился.

Уже после премии Нобелевской, когда выходило здесь собрание его сочинений, он держал корректуру в этом самом Грассе.

Сижу у себя наверху, ставлю запятые, вопреки грамматике перед и, вдруг внизу опять хлопает дверь и на весь дом крик:

— Писатель с мировым именем и вдруг написал такое . . . (скажем элегантно: «удобрение»).

Это значит, читает в корректуре «Деревню» и не одобряет. «Ты им доволен ли, взыскательный художник . . .» — да, взыскательным художником он был, конечно.

Мы с женой слушали эту «Деревню» еще в Москве, он сам читал — брату Юлию, мне да двум Верам, в доме Муромцевых, родителей его жены. Чтец был превосходный.

Сказать правду, эта «Деревня» никогда мне близка не была, Бог с ней, мало нравилась. А вот он вдруг теперь распалился: такой уж нрав.

В Грассе, под провансальским солнцем написал он многое свое основное, «Жизнь Арсеньева», «Митину любовь», «Цикады».

* *
*

Мы в Грассе только временно бывали, а два лета жили в департаменте Вар, в именьице друзей.

Это совсем другое дело. Пустынное и поэтическое, глухое место — леса, оливки, виноградники, ничего яркого и нарядного, но великое молчание и обаянье страны древней, высоко-благородной.

Дом «наш» небольшой, вроде фермы. Ему двести лет, стены расписаны в столовой какими-то наивными фресками, но все это очень мило. Свое вино, свой ви-

ноградник. В жаркий солнечный день хорошо подойти к лозам винограда «столового» (для еды, не для вина), сорвать гроздь, солнцем прогретую и тут же «лозы виноградной» вкусить. Сходить под вечер пешком в Торонэ, деревушку в километре, где худенький молодой аббат наигрывает в одиночестве на органе (иной раз и он к нам заходит отвести душу от пейзан, к церкви совсем равнодушных. Но спрашивает опасливо: уважаем ли мы католицизм? Ничего, уважаем).

Днем пишешь, в полной тишине, в свете, под музыку цикад. Их серебро все мы — жена, дочь, я, очень любили — сколь мелодичен звон их, непрерывный, негромкий и ненадоедливый: какая-то бесконечная симфония юга и солнца. А вечером совы — тоже друзья, ауканье их нежно.

Хозяев нет в доме, они в других краях. В соседнем домике живет Фердинанд, провансалец, вроде приказчика, типа Тартарэна из Тараскона (Додэ) и жена его, толстая итальянка Мадлэна. Она и готовит нам. Обедаем под каштанами, на воздухе, под зелено-золотой, божественной сетью солнца сквозь листву каштанов.

Однообразно, тихо, патриархально. Девочка рисует после обеда свои детские рисуночки, за этим же столом, вечерние прогулки — нередко в аббатство Торонэ — заброшенный и замечательный цистерцианский монастырь. Там тоже цикады, тоже вечером певучие совушки провансальские.

Вдруг в идиллии этой некое и событие: к нам едут Иван с Верой — Бунины! Из Грасса, навестить. Ну, очень рады.

В назначенный день автомобиль виден из-под наших каштанов, нерешительно он останавливается у поворота с большой дороги, наконец к нам, на скромную дорожку сворачивает. Да, Иван в каком-то шлеме, как

путешественник в Индию, коричневатом, Вера в светлом платье, такая же спокойная и сдержанная, как и в Москве девушкой была, в доме родителей своих, Муромцевых.

— Ну вот, дорогой, в какую трущобу забрался, насилу нашли! Что, вы тут одни совсем? Скучища, наверно?

— Ничего, не скучаем.

— Это тебе не Притыкино твое. Вера, вылезай, вылезай!

Пока Вера целуется с моей Верой, он уже нетерпеливо рвется куда-то.

— Показывай, показывай свое Притыкино! Где у вас тут скотный двор? Конюшни где? Сколько лошадей держишь? Почем поденным платишь?

Но это все «так». В общем он благодушен, в хорошем настроении, осматривает дом, заходит в мою комнату — очень скромную, с несколькими рукописями да книжками о Провансе — собственно, вроде кельи.

— Тут вот и «творишь» . . . Твори, твори. А винцо у вас собственное? Виноградники развел, оливки . . . Ну, куда там Притыкину угнаться . . .

И все-таки старый, неказистый, но чем-то благородный дом ему нравится: может быть, неким древним своим запахом, тишиной, прохладой, жужжаньем отдельных шмелей и снаружи треском цикад.

— Да, я сам это люблю, — говорит он уже серьезно: — и Прованс, и глушь, и цикад, и каштаны.

Завтракаем внизу, в полутемной столовой. Иван надевает пенснэ, разглядывает «живопись» на стенах.

— Это что же, Рафаэль изображал?

— Да, Рафаэль. Здешний. А жил тут полоумный одинокий старик, владелец имения. Здесь и умер. Буд-

то бы призрак его ходит ночью по комнатам и постукивает.

— Ну, это вранье, конечно. Брехня. Призрак! Пьяница наверно был, спивался в одиночку.

— Бог его знает.

— А ты видел? Как он ходит и постукивает?

— Нет, не видел.

— Ну вот то-то и оно-то, душа моя. Все вранье.

Я подливаю ему «нашего» пюжетского вина.

— Будет, дорогой. Винцо хоть свое, притыкинское, а довольно таки... (и опять словцо на четвертую букву алфавита).

* *
*

Под вечер мы ходили в монастырь Торонэ. Какою-то тропинкой, среди мелкого леса — и вот другая тропинка пересекает ее — в старых, замшелых плитах-камнях.

— Иван, смотри, это древняя дорога в аббатство Торонэ. По ней ездил сюда на ослике Св. Бернард. Тот, кто Крестовые походы проповедывал. Бернард Клервосский — он и считается основателем аббатства.

Еще довольно жарко, пахнет нагретой хвоей, цикады неумолчны. Выходим на большую дорогу, современную. Налево красные россыпи боксита, невдалеке романского стиля колокольня.

— Клервосский, Клервосский... — я этих Крестовых походов не видал... а вообще хорошо. Мне нравится.

Он снимает свой шлем.

— Да, братец ты мой, на ослике... Как Спаситель, «на осляти».

Иван делается вдруг серьезным — это не шуточки и «Притыкино», сейчас он поэт, как и подобает ему

быть. Такой, как некогда читал стихи свои у меня на Спиридоновке.

— Да-а, святой Бернард...

Удивительна эта заброшенность аббатства Торонэ, одного из знаменитых памятников романской архитектуры. Как все сурово, строго тут! Ни украшений, никакой радости для глаза. Как будто сказано: «К чему обольщенья? Веруй, молись».

Голые каменные стены храма, сумрачная трапезная для монахов, портики во дворе на приземистых колоннах, нехитрый колодезь — и ни души! Даже привратника нет. Входи с дороги, кто хочет. Правда, и украсть нечего: сплошной камень, да так уж прочно приторочено, что веками стоит.

Во дворе присаживаемся у колодца, Иван закуривает.

— Да, это не то, что у нас в Ельце или у вас там в Кашире. А мне нравится. Ей Богу, нравится. Ты посмотри, как строили... Да-а, писали не гуляли.

На закате солнца мы вернулись уж домой, взошли на взгорье за нашим домом, посидели на поваленном дереве. Тут другое. С возвышенности далеко видно — старинный городишко Лорг, леса, оливки, виноградники, окаймлено все невысокими горами, в туманной синеве сейчас. Это Вар, департамент Прованса, пустынный, поэтический и откуда пейзане все-таки стремятся перебраться в город или ближе к городу. Поэтично, но и скучно. Сколько заброшенных виноградников, покинутых домов крестьянских, запустелых огородов и вообще развалин. Одно аббатство Торонэ неуязвимо.

Таким заезжим и случайным как мы с Иваном — нравится, а жить тут постоянно, и особенно зимой... (Воображаю, что за холодище в нашем доме, когда мистраль задует!).

Но сейчас мистраля нет и зимы нет. Есть наступающий вечер, вдруг ставший облачным, в сиреневых сумерках. Спускаемся домой — Иван начинает торопиться.

— На коней, на коней!!

Внизу, близ дома нашего, видны огни автомобиля.

— Видишь, пора! До Грасса еще далеко. Ночевать тут, что ли? Вера, поторапливайся!

И быстрой, сухой походкой, тонкий и бодрый сбегает вниз. (В движениях моложе своих лет).

Фердинанд разглагольствует о чем-то с его шофером. Вероятно, что-нибудь по провансальски-тартаренски врет.

— Ну, душа моя, прощай. Нет, обедать не останусь.

Две Веры целуются. Иван быстро вскакивает в машину.

— У-у, Вера, всегда возишься!

— Вот и я сажусь, Ян. Ничего я не вожусь.

— Прощайте! Хорошо у вас тут в Притыкине!

Через несколько минут автомобиль катит к большой дороге. Сквозь деревья мелькают золотые огни его, потом исчезают. Как мгновенно прилетели Иван с Верой, так и улетели.

* *
*

Так улетело теперь и все то, прошлое, далекое. Вспоминаю обоих во времена бодрости их и хорошей жизни. Вспоминаю и Грасс, где подолгу мы с женой — подругой юности *его* Веры — гостили. Горестно представить себе предсмертные годы Ивана Алексеевича (только что прочел о них), ужасно грустно. А теперь и Вера ушла. Но вот в памяти они *тогдашние* остались, как и Прованс в солнце и золоте, Грасс, Пюжет.

1962.

О ЛЮБВИ (БАЛТРУШАЙТИС)

И я тебя, мой день, мой свет небесный
Боготворю!

Ю. Балтрушайтис.

С Юргисом Казимировичем и Марией Ивановной знакомство мое давнее, еще со времен Москвы. «Мрачный как скалы Балтрушайтис», назвал его некогда Бальмонт.

Такие слова он любил. А Балтрушайтис был просто умен, не словоохотлив и замкнут, без всякого мрака. В жизни его литературной не было ни шума, ни широкой известности. Он шел медленно и одиноко, в благородной отдаленности. Принадлежал к символистам московским старшего поколения (Бальмонт, Брюсов), их сверстник и сотоварищ. Печатался в «Скорпионе», «Весах». Писал не так много: всего вышло в России две книги стихов: «Земные ступени», «Горная тропа». Читатели знали его мало, писатели ценили и уважали. В 1918 г. Юргис Казимирович был избран председателем Союза Писателей. На следующий год получил назначение литовским посланником (был литовского происхождения) — в Союзе его заменил другой.

Но личных связей с писателями он не прерывал. В 1920 г. помог уехать заграницу Бальмонту, в 1922-м

мне с семьей в том же содействовал. С тех пор так и остался на дипломатическом посту в Москве до самой войны, погубившей самостоятельность Литвы.

Посланничество его кончилось, Юргис Казимирович с Марией Ивановной поселились во Франции. Здесь вновь пришлось с обоими встретиться, уже при немцах. Свидание произошло зимой, в ледяном кафэ Closerie de Lilas — очень дружественно и тепло. Оба они мало изменились. Как тихо и дружно жили раньше, так же и продолжали. Но холод был не в одном Closerie de Lilas — дома у них топить тоже было нечем, Балтрушайтис писал свои литовские поэмы и мерз.

Вместе похоронили мы Бальмонта, тоже мучительной зимой, в условиях тяжких. (Идя за гробом, скромно и грустно улыбнувшись, Мария Ивановна сказала: «Бальмонт был шафером на нашей с Юргисом свадьбе... очень давно»).

Но холода и недоедания эти и самому «Юргису» не прошли даром: в январе 1944 г. он скончался.

Произошло то, что для людей, вместе и в любви много лет проживших, всегда самое страшное: разлука.

С виду Мария Ивановна, оставшись одна, не изменилась: такая ж спокойная и приветливая, негромко говорящая на отличном московском наречии (урожденная Оловянишникова), какая-то «основательная», «достойная». Старинная мебель в гостиной, вывезенная еще из Москвы, тихий ковер, на стенах гравюры Пиранези, книги в хороших переплетах...

А что от жизни осталось, сосредоточилось на покойном. Человек и ушел, но для любви он тут, рядом... — не смерти убить его.

Мария Ивановна вполне погрузилась в рукописи и письма. Все сошлось на писаниях «Юргиса». Разбирала архив его, размещала что надо и подбирала. Кое-что

напечатала в «Новом Журнале», главное же, готовила книгу его стихов. Начала, сколько знаю, и собственные воспоминания о том времени. В центре, разумеется, покойный.

Ее заботами, трудами и любовью издан лежащий передо мной том: «Лилия и Серп» — белая с голубым гербом изящная обложка. Под ней избранные стихи Балтрушайтиса за много лет.

* *
*

Его раннее писание помню смутно — давно это было, те книги стали редкостью. Здесь, в эмиграции, как бы новая встреча. Общий облик, однако, все тот же, сильней только звук религиозности. Были ли мы тогда сами иные, он ли менялся, но э т о сейчас лучше слышишь. Замкнутость, немногословие, склонность к раздумьям в нем прежняя. Поэт он философской складки, мистик, благоговеющий перед Творцом, настроения молитвенного. Несколько однообразный, нелегкий, но без всякой дешевки и притязания на успех. Можно представить себе его путником, вот он шагает медлительно, опираясь на посох, по тропам не весьма гладким, но в гору. Вроде Сорделло, трубадура в Чистилище.

Иногда Тютчев вспоминается — по склонности к космическому, некой ночной тишине, возвышенной и отрешенной настроенности. Но в обаянии словесном кому угнаться за Тютчевым? И страстности, кипения тютчевского (в любви) тоже нет. Много стихов названо «Раздумья» — это любил Баратынский.

Но у Балтрушайтиса нет беспросветности. Он был сумрачен с виду (как и на портрете, открывающем книгу — не считаю его удачным). Но это внешность. Ко-

нечное же в нем — поклонение, свет, Божество. И любовь. И вот это, в закатной полосе, особенно ему удавалось. К нему была направлена верная любовь, любовь шла и из его книги. Значит и из жизни. Не терзающая страсть, как на закате Тютчева, а спокойная и примиренная любовь — боготворение и благодарность.

Пять стихотворений в «Лилии и Серпе» посвящены «Марии Б.» — все изошли из одного источника.

«Ты принесла в мой путь, так
часто тесный
«Как в ночь зарю —
«И я тебя, мой день, мой свет
небесный,
«Боготворю!»

* *
*

К гордости., чести литературы русской и русской женщины, я вижу ряд преданных, смиренных в любви к ушедшим, вдов. Имен не называю. Но бескорыстное благоговение их единит. Творчество ушедшего друга — их жизнь. Они собирают письма, тратят последнее на издание книг, пишут воспоминания, иногда обрабатывают недоконченное. «Если мне удастся выпустить в свет его труд, значит, Господь не напрасно дал эти годы жизни. Я спокойно уйду» — это слова не Марии Ивановны, но она вполне могла бы их сказать (если и не говорила!).

Годами нести крест одинокой, достойной жизни, годами трудиться не для себя, а для славы ушедшего, годами хранить могилу, ее украшать, если можно и памятник воздвигнуть: каменный или нерукотворный

— годами оберегать память — это и есть та любовь, над которой ничто не властно.

...Мы возвратились в Париж в начале августа. На столе у меня лежала «Лилия и Серп» с надписью Марии Ивановны, начинавшейся словами: «Привет от Юргиса...»

Мы знали, что она плохо себя чувствовала еще в июле. Жена тотчас поехала к ней. Но приехав узнала, что уже два дня покоится она на Монружском кладбище, рядом со своим Юргисом: припадок сердца.

Слово в слово — «Я эту книгу выпущу и уйду».

1948.

ВОЗВРАЩАЯСЬ ОТ ВСЕНОЩНОЙ

— Пойдем по rue de Passy, сказала жена, когда мы спускались с крыльца, выходя из церкви.

Было половина восьмого, тихий августовский вечер. Сияние его теплело еще в перистых облачках — они высоки, легки. Розовеющее и зеленоватое господствует в небе.

Я не очень люблю rue de Passy. Она кажется мне несколько серой. Но жена не согласилась.

— Нет, помнишь, Бальмонт говорил: «это парижский Арбат». Правда, похоже.

Может быть, — я не стал спорить. И Бальмонт говорил что-то в этом роде... — ужасно давно, когда в первый раз мы попали в Париж, когда после деревенской Москвы мне казался этот город некиим Вавилоном, хотя мы ездили в нем на омнибусах, в фиакрах, а метро всего две линии существовало и одна как раз доходила до Пасси.

Бальмонт жил на rue Singer, в двух шагах отсюда. Мы не раз у него обедали. В розоватом тумане из окна шестого этажа виден был Медон. Потом темнело, зажигались там огоньки. Бальмонт победно потрясал рыжеватой бородкой, повествовал что-нибудь об Уайльде или По, сердился на Метерлинка. («Этот жирный фламандец не был учтив с поэтом» — Метерлинк жил ря-

дом и холодно его принял). Екатерина Алексеевна спокойно, дружелюбно угощала нас.

— В сущности, это Пасси для нас вроде кладбища, — сказал я. Жена согласилась, и трудно, правда, было не согласиться. Ни Бальмонта нет, ни Екатерины Алексеевны, ни второй его жены, Елены Константиновны, да и многих других.

Мы шли медленно, по узенькому тротуару.

Париж безлюден. В этом есть свое очарование, прозрачная пустынность августа в столице. Вечер гас. Но принимал сочувственно, как бы приветливо. Этот вечер явно был расположен к нам и способствовал неколдовскому вызыванию теней. Нет, это не заклинание. Просто — воспоминание: то, чему, может быть, и не следует предаваться, но иногда не поддаться трудно.

Вон там, на улице Colonel Bonnet жили Мережковские, в доме, которого и вовсе не было в первый приезд наш сюда. Гиппиус полулежала в гостиной, покуривала папироску и читала. Дмитрий Сергеевич выходил в туфлях из кабинета — маленький, слегка сгорбленный, потирая рукой лоб. («Зина, а к чаю есть пирожные?» «Не знаю, надо Володю спросить» . . . — пирожные пирожными, но до конца дней своих он трудился над Августинами, Паскалями . . .).

Тоже недалеко, на углу Raynouard и Chernoviz заседал в пятом этаже «Илюша» Фондаминский, всем помогал, всех устраивал, мирил, был каким-то премудрым Соломоном «Современных Записок» (вблизи гнездившихся, на rue Vineuse). Неистощима была его благожелательность к людям.

За спиною же у нас rue Scheffer, где тихо процветало замечательное книжное сокровище. Павел Николаевич Апостол собирал его десятки лет. Большеголовый, элегантно-невысокий, на тоненьких ножках, был он об-

разцом порядочности и культуры, завсегдатай антикваров, аукционеров, букинистов. Редкостные Олеарии, Герберштейны, всякие старинные издания, роскошные и просто художественные, в превосходных переплетах украшали гостиную (книги на полках в три ряда вглубь!). Еврейское происхождение не мешало ему некогда служить в Париже по Министерству Финансов (Императорскому русскому). Но Гитлер взглянул иначе. В последний раз видели мы Павла Николаевича в некоем убежище Ротшильда, за Лионским вокзалом — пленником немцев. (Кажется, в 43-м г.). Он от них и погиб, и супруга его, и билиотека. Погиб также Илюша. Вечная память и ему с женой, и Апостолу с Ольгой Николаевной.

А вот здесь, на rue Jean Bologne, прожили мы первые две недели эмигрантской жизни в Париже у Михаила Андреевича Осоргина, приятеля молодых лет, ныне покойного.

* *
*

Русская зона Парижа простирается и на Отёй. Возвращаясь домой по метро, на станции Exelmans вспомнили о Шмелеве — недавно еще «обитал» он в этих краях.

Незадолго до кончины мы его навестили. Он сам отворил, не без трудности, потом зажег свет, лег на постель, худенький, слабый — весьма изменился. Выросла у него борода, небольшая сребристо-седая, очень его украсившая.

Сначала говорил тихо, потом воодушевился, потрясал худым пальцем, как бы заклинательно, бородка и этот палец, и всклокоченные на голове волосы рисовали на стене остроугольную, прыгающую тень.

Всегда был Иван Сергеевич — густая, древняя Москва из Замоскворечья. Но в тот вечер особенно проступил в нем именно век Василия Блаженного. Даже крестился и ударял перстом в грудь так, как, наверно, делали давние его предки на папертях московских церквей при Иоанне Грозном.

Потом успокоился, встал. За ширмою надел бархатную куртку, волосы, бороду пригладил, сел в кресло к письменному столу и стал несколько другой — тихий и почти даже красивый (чего раньше не было). Во всяком случае, благообразный. Что-то в нем трогало и радовало.

— Если Господь даст жизни еще год, кончу роман . . .

И вновь перекрестился. И все, что ни говорил, было скромно и ласково. Мы тоже с ним были ласковы. На прощанье он подарил нам «Солнце мертвых» с дружеской надписью. И вот хорошо, простились мы братски.

А он умер скоро. Не год, а два месяца оставалось ему жизни. Скончался тоже благообразно, в православном монастырьке под Парижем.

Комнату его последнего вздоха хорошо знаю. Сам жил в ней не раз, когда и обители еще там не было. Но думал ли тогда, несколько лет назад, что именно в ней, в первый же день приезда «на отдых», скончается Иван Сергеевич Шмелев, который и знаком-то не был с тогдашним хозяином и владельцем усадьбы?

Значит же где-то было написано: «Быть по сему».

• •
•

Я довольно давно заметил, что четыре старых русских писателя, все из Москвы, все Россией рожденные

и в ней сложившиеся, живут по линии метро Pont de Sevres—Montreuil. Бунин ближе всех к центру, затем Ремизов, Шмелев, дальше всех я. Теперь остался я один. Но это все ничего. Не вечно же тут жить. Не будет и меня. Жизнь идет — «жили-были». Не нами литература началась, не нами кончится. Все хорошо, все в порядке.

... Вот мы возвращаемся домой от всенощной. Всенощная эта отошла, но она вечна, так же будет звучать через сотни лет, так же будет в конце:

— Слава Тебе, показавшему нам свет!

Хор так же ответит:

— Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.

Другие люди опустятся на колени. Но в этом ничего нет плохого. Нечего бунтовать. Мы уйдем, но все правильно. Ничего не случилось.

1950.

Италия

«1908» — РИМ

...Во Флоренции были мы в прошлом году в мае. Май, свет, радость — это Флоренция.

Рим — осень. Так оно и должно быть. Мы и прожили осень в Риме, близ Испанской лестницы у Монте Пинчио, снимали комнату у итальянцев, в какой-то огромной квартире. Опьянения и восторга Флоренции здесь не было. Серьезнее, строже, отчасти грустнее, всегда на пороге Вечности. Но вся жизнь и здесь — в нашей молодости, жажде красоты, поэзии, древностей. Думали ли тогда о чем ином? О России, даже о своих близких, там оставленных? Очень мало. Целый день по музеям, дворцам, руинам, катакомбам — не забыть бы еще какого фонтана знаменитого. Один день под темно-синеющим небом Рима, при прохладе, ясности и той великой тишине, которая была тогда в римской Кампанье — такой день сто́ит года жизни обыденной.

Времени нет. Пока жив человек и не потускнел еще окончательно его мозг, бывшее полвека назад столь же живо, а то и живее вчерашнего.

Утро. Довольно раннее. Едем в вагончике трамвая за город, на виллу Адриана. Не быстро и как-то по-домашнему. Вокруг римская Кампанья, горы Сабинские в розоватом тумане, направо Фраскати на холмах своих виноградных, стройные цепи акведуков полураз-

рушенных, дикие поля — то мелкая травка на них, то просто ничего нет. Стада овец, пастухи с посохами в кожаных штанах — Кампанья времен Гоголя, Шатобриана, Стендаля. Собственно, это эпоха Авраама и Иакова. Великая тишина. Прообраз Вечности.

Вынимаю письмо. Из Москвы, рано подали, не успел еще распечатать. От Ивана Бунина. Он редактор альманахов «Земля», там моя повесть, вперед оплаченная, она и кормит, на нее странствуем.

Мне Бунин всегда художнически нравился. Изящный человек, худой, тонкий, барин средней России, давшей почти всю литературу нашу. Не петербуржец, без всяких «мэтров», «измов», снобизмов. Характер нелегкий. Все равно, нравился.

В юношеские мои годы я робел перед ним — и это было хорошо, правильно: он старший, и уже сложившийся художник. Но вот теперь, более оперившись и повзрослев, я несколько распустил хвост. Да и литературный оттенок иной: он вырос вполне на девятнадцатом веке, во мне было нечто и от модернизма (все-таки не избежишь «изма»: импрессионизм).

Не помню точно, что я ему написал из Рима (то ли насчет корректуры, некое нетерпение), но видимо в тоне повышенном. И вот проплывает серебристо-златистая, в утреннем благоухании Кампанья, безлюдие, вдалеке городок средневековый — Палестрина, или в этом роде нечто, а я читаю в письме приблизительно так: «Дорогой Борис Константинович, что с Вами? Почему такой тон? Требовательность такая? Если б не наши довольно уж давние добрые отношения, я бы по иному ответил». Внушительно (и вполне мной заслужено), все-таки сдержанно. А в конце: «кланяйтесь Вере».

Читаю и ничего не чувствую. Да, чепуха, какие-то пререкания, когда есть Рим, божественное это утро,

сияющая Кампанья, рядом Вера, впереди вилла Адриана, где условленно встретиться с Павлом Муратовым, оттуда с ним и с Женей на виллу д-Эсте. Вот главное. Остальное пустяки.

Да, мы были в тот день на вилле Адриана, в опьянении некоем бродили среди обломков жилищ ее, по разным портикам, атриумам, заросшим плющем, видели водоемы — все это двухтысячелетний сон, заплетенный зеленью, полный очарования неизъяснимого. Жил тут замечательный император, покоритель и победитель, был юноша Антиной, божественной красоты, был и грех великий — чего, чего не видела вилла эта ... — а теперь все сияет в блеске поэзии и руин, под вечным римским небом с плавающими в нем ястребами.

Мы, конечно, Муратова с Женей встретили — таких же как мы чудаков. Завтракали за убогим деревянным столиком, под открытым небом. Из скромной остерии носили нам скромные кушанья римской деревни, мы запивали эту козлятину, сыр, фрукты красным винцом и вдыхали благодать мира Божьего. Подошел к нам осел, стал рядом — принял за своих? У него выражение тоже было блаженное, вероятно, от тепла, солнца, сознания своей мужской силы, он вдруг закинул назад уши, прижал их и заревел таким диким истошным голосом, что мы покатились со смеху. Что ж, как мог и как умел, выразил ту же радость бытия, что и его соседи по столику. Только по-русски, к сожалению, не понимал.

На виллу д-Эсте, недалеко, пошли пешком. Там другой мир и другой век — фонтаны ренессанса, божества вод, аллея льющихся струй. Хоть и другая эпоха, но воды все те же, что и в самом Риме — сухопутном городе великих вод.

Из садов виллы д-Эсте (она много выше виллы Адриана, на взгорье) открывается далекий вид. Снова мир особенный. Монте Соракто, Субиако, серо, голо, пустынно, там уже не император с Антиноями и не герцоги д-Эсте со своим роскошным дворцом и прославленными фонтанами — там монашество и отшельничество, это братья св. Франциска.

* *
*

Так жили мы в Риме, беззаботно, беспечно. Был тогда там за Тибром, в высоком новом доме изящный Осоргин, тоже италофил, ерошивший себе на голове волосы, смеявшийся, припадавший на одно колено иногда пред дамами, написавший потом книгу итальянских очерков «Там, где был счастлив» — добрый товарищ и милейший человек. Был маленький ресторанчик Piccolo Uomo на Via Monte Brianza, недалеко от первого дворца Зинаиды Волконской (позже она купила себе другую виллу в Риме, прославленную, но довольно далеко).

В этом ресторанчике, под открытым небом, среди обломков старины и мелких статуэток в зеленых нишах, Осоргин, давнишний завсегдатай, ласково обнимал хозяина и припадал к нему, низенькому толстяку, коего потом воспел и он, и я сам. Это и был Piccolo Uomo, некий славный домашний лар Рима, кормивший за гроши художническую богему, немецких энтузиастов, русских литераторов, весь мелкий наш сброд. Художники дарили ему статуэтки, картинки, всякие пустяки, которыми он украшал свой летний сад и зимнее помещение. Была статуэтка-портрет и самого Piccolo Uomo, тоже стояла в нише. (Много позже видел я в Лондоне в ста-

ром ресторане статуэтку мистера Пикквика — будто бы Пикквик обедал в этом ресторане: тоже толстячек маленький, тоже в угловой нише, только более знаменитый, чем наш Piccolo Uomo).

Сколько сил было и здоровья! Целый день на ногах — Ватикан, вилла Дориа Памфили, Музей Терм, Фарнезина, а то Монте Пинчио, прогулки после галереи Боргезе. Вид на Рим, запах лимонов на пригретом скате к площади, бессмертный фонтанчик с зеркалом горизонтальных вод. Вечером Café Greco на Via Condotti, где Гёте еще бывал, сиживал наш Гоголь. А позже, завалившись под перину на Via Belsiana близ Испанской лестницы — все тут же! — никаких снотворных.

Café Greco мы любили. Старомодно, уютно, узкая комната, по стенам диванчики, перед ними столы. По стенам картины. Освещение газом.

Тут играл я в шахматы с итальянским профессором. Худощавый, изящный человек, чуть нас не погубивший.

— Поедемте вместе в Сицилию.

Жена моя, тут же сидевшая, очень воодушевилась.
— В Сицилию! Замечательно. Мы там никогда не были.

Договоримся окончательно через несколько дней. Ехать до Мессины, там дальше в Палермо, Таормину.

Спас нас эмигрант Фиц-Патрик. Попросил у меня взаймы — и сумму-то небольшую. Я дал. Но тут и выяснилось, что с деньгами туговато. Как бы не остаться без гроша на обратный путь. Ладно, Сицилия в следующий раз. Да нам и в Риме отлично.

Все же мы вскоре собрались домой. А профессор — в Сицилию. И сейчас же погиб, в знаменитом мессинском землетрясении.

А мы отступали на север. Италия полна была восторгом перед моряками эскадры нашей, стоявшей в Сицилии — порыв, смелость в спасении погибавших, героизм наших матросов и офицеров поражали. Газеты полны ими. Истинная слава России!

Мы ехали почему-то через Германию — на Франкфурт, Берлин. Гонорар «Земли» кончился, надо спешно отступать, едва уносим ноги. Но вот Россия тогдашняя! Рядом с героизмом легкомыслие и беспечность изумительные (не удивляешься теперь, что такой склад жизни и развалился столь быстро).

В Варшаве сели, наконец, в прямой поезд на Москву. Кажется, полтора дня пути. Хорошо, ну мы — литературная богема, люди неосновательные. Но с нами, в том же вагоне, ехал один из директоров Румянцевского Музея. Историк искусства. Возвращался из Равенны, изучал там мозаики, кажется, для работы об Айналове, русском «равеннисте». И вот у этого скромного и приятного человека не оказалось в Варшаве уже ни копейки денег, только билет до Москвы. У нас несколько рублей еще осталось. Равеннист должен был голодать полтора дня, мы кормили его в поезде — и узнали случайно, что он прожил все, увлекшись делом своим, в Равенне.

У нас не было в Москве квартиры. Не хватило даже денег на извозчика с вокзала. Но нас встретила сестра жены моей Таня, отвезла к себе на Сивцев Вражек. Дала приют — две комнатки.

* *
*

Откуда брались деньги? Все-таки, откуда-то брались. Больше авансами литературными.

В феврале на звонок вышел отпирать дверь я сам и увидел на крыльце заснеженного Ивана Бунина, того самого . . . — римского. Теперь он был в теплом пальто, меховой шапке, с меховым же воротником, весь занесенный снегом.

Встретились хорошо. Римская чепуха забылась — да я, видимо, написал ему оттуда же и другое письмо.

У меня в комнатке он сказал:

— Дорогой мой, вот какое дело. Графиня Варвара Бобринская устраивает журнал. Дайте что-нибудь для первого номера. Аванс получите.

Вот это и выход. Конечно беру. Журнал даже и не осуществился, но златницы тут же и вынул Иван Алексеич (тогда были мы с ним еще на «вы»).

Что делать с этим авансом? Так вот и сидеть на Сивцевом Вражке, близ Арбата?

В конце марта я с женой и Сергей Кречетов («Гриф», издатель Блока, Бальмонта и сам поэт) — он тоже с женой Лидией, вместе укатили в Крым. Много еще сил, желаний. Мир велик. Всего не увидишь, а что можешь — вбирай. Крым не Италия, все-таки . . . (Чехова, к сожалению, ни в Ялте, ни на земле нашей уже не было).

Вернулись тоже без гроша. Но на извозчика хватило.

1962.

ЛАТИНСКОЕ НЕБО

К Риму

Поезд вышел из Сестри вечером, поздно. В темноте гремел по Генуэзской Ривьере — то влетаешь в туннель, то море бьет рядом о скалы, дышит влажным своим дыханием.

Край знакомый, прекрасный. Приходилось здесь жить, и сейчас семья в Кави близ Сестри, у моря.

Приближается Специя, военный порт. Его маяк всегда виден вечером из Виареджио. Виареджио — это молодость, давние времена. Май, солнце, купанье, кианти и беззаботность. Вдалеке, но своя — Россия, со всеми тульскими полями, перелесками, рощами Притыкина. В Виареджио, Пизе, Флоренции мы только гости, почитатели и поклонники. Когда кончатся деньги, сядем в поезд, через день в Москве, у себя дома.

Неизвестно, где мой дом теперь, осенью 1923 года, когда поезд летит мимо любимых мест к Риму.

В Риме Professore Lo Gatto, для нас Гектор Доминикович Логатто, неаполитанский пленник России, римский ученый, пестун русской культуры в Италии, устраивает нам чтения. Нам — горсти русских писателей, философов и ученых, оказавшихся за рубежом. Оттого мы и едем — кто из Германии, кто из Чехии, я из Кави. Что можем, везем. Бердяев, Франк, Вышеславцев философию. Муратов иконы (он читал позже

нас, отдельно). Чупров, Новиков науку. Осоргин и я по литературной части.

В поезде ночью спать трудно. Не только потому, что неудобно. Впереди Рим! Это тоже часть жизни. Это юные странствия по церквам, катакомбам, по Аппиевой дороге, закаты на Монте Пинчио — мало ли еще что! Спокойным быть трудно.

Зеленоватая заря чуть брезжит. Мы за Ливорно. Места пустынные и дикие. Древняя Этрурия, колыбель чуть ли не всего искусства итальянского. Замедляем ход. Над приближающейся станцией хмурые утесы вдалеке, гора вздымается, какие-то зубцы, башни города — на зеленовато-розовеющем небе. Корнето! Знаменитые саркофаги, загадочные этруски, нивесть откуда взявшиеся со своим таинственным искусством. Все это повито в безмолвный утренний час тайною тысячелетнею суровостью, непроходимой пустынностью. Поезд стоит. Тихо. Совсем тихо. И под небом веронезовских шелков, в благоухании — тмином, горными травами — вдруг вдали вечный призыв: утренний петел, тот петел, что возглашал Апостолу две тысячи лет назад, возглашает и ныне в тульской деревне и вот здесь, в тайном Корнето.

Рим подошел позже, ясным утром, в голубовато-золотистом сиянии. Незаметно и беззвучно приближался, себя не выставлял. «Мне не нужна картинность. Я и так велик. Если же покажусь не блестящим, не удивляйся: поймешь позже».

Но я знал Рим. Не удивлялся неказистости Stazione Termini, окружающих улиц, первого общего впечатления.

Носильщик взял мой литературный чемоданчик, взвалил на плечи и повел недалеко от вокзала в квартиру к знакомым: сдают комнату, и недорого.

От судьбы не уйдешь. Мы подымались на седьмой этаж, оказались в большой затхлой квартире римских Афанасия Иваныча и Пульхерии Ивановны. Все хорошо: и Мадонна над огромной кроватью, и бумажные цветы, и фотографии padre-madre в ракушках на комоде, и вековечная приветливость Италии. Пульхерия Ивановна, полная старушка, Афанасием Иванычем и тут управляла. Он жался в сторонке, распоряжалась она. Хочу ли я кофе? Хочу ли мыться? Удобна ли мне постель?

В комнате застоявшийся воздух, пахнет сладковатым, давним от вещей, тканей.

И когда отворил я оба окна, в голубоватой дали, нежно туманившейся, призрачной россыпью обозначилось на холмах Фраскати — как бы слегка дышавшее, струившееся в океане сребристого, светоносного воздуха. Римский покой, римская тишина!

Комната стоила не дешевле гостиничной. Место мало мне подходило и сам подъем на седьмой этаж напоминал гору Чистилища. Но я остался. Рим так Рим. Это его народ, его жизнь.

Чтения

Трудам, вниманию и заботам Гектора Доминиковича обязаны мы этим удивительным путешествием.

Еще из Флоренции я прислал в Рим свой текст. Лоґатто его перевел на итальянский язык. Здесь в Риме я тотчас попал в его приветливые объятия, собственно в русский дом (жена его, Зоя Матвеевна, чистокровная русская). Но живость характера у него неаполитанская. Сто дел надо успеть сделать, приехавших опекать, приемы устраивать, давать сведения в прессу, не говоря уж об обычной работе в Институте Восточной Европы.

А теперь еще меня обучать. Дважды я читал ему вслух свой урок. Он поправлял и произношение и особенно ударения.

Все мои сотоварищи остановились в отеле у Тибра, что-то вроде Альберго. Надо мною подсмеивались, что я Бог знает куда забрался, но все мы были оживлены, веселы, без устали гоняли по Риму (особенно Вышеславцев с женой и я), вечером вместе обедали недалеко от фонтана Треви, в ресторанчике „Est, est, est", знаменитом своим вином (длинная история, кажется, о кардинале каком-то, спросившем хорошего вина — по латинскому ответу и названо).

Бердяев, однако, и Франк предпочитали молочное, были верны своим яуртам. Но наша партия, с Вшеславцевым и Осоргиным, действовала по вину. Ученые предпочитали воду.

Не помню, кто из нас начал чтения. Но все старались, кто как мог. Бердяев, Франк, Вышеславцев читали по-французски. Осоргин, Чупров, я по-итальянски. Осоргин долго в Италии жил, очень любил ее, языком владел хорошо. Чупров, еще более «с бородкой», чем я, русский интеллигент с большой буквы, с милым простодушием произносил все итальянские буквы, как студент с Козихи или статистик из Рязани («ченни стори-чи, поли-ти-чи, эд эко-но-ми-чи»).

Выворачивался и я, как умел. Ударения все были размечены, усердия хоть отбавляй. Остальное предал я на волю Божию.

Целый час рассказывал о тогдашних писателях и литературе в России. Мы были пришельцами из загадочной страны. Наша жизнь в революцию для них фантастична. Голод и холод, чтения в шубах об Италии („Studio italiano" Муратова), торговля наша в Лавках Писателей, книжки, от руки писанные за отсутствием

(для нас) книгопечатания, наши пайки, салазки, на которых мы возили муку, сахар, баранину академического пайка — все это воспринималось здесь как быт осады Рима при Велизарии.

Помню аудиторию Института Восточной Европы — не очень большую, но полную, много молодых лиц, студенты, дамы, литераторы, что-то очень сочувственное и созвучное. Я опасался этого вечера еще в Германии («на чужом языке...»). Но так хотелось побывать вновь в Италии, что Бог с ним со страхом. И по-китайски согласился бы читать.

После чтения все устремились конечно в ресторан. Vino dei Castelli Romani, pollo arrosto... — а Бердяев и Франк — яурт.

Герцогиня.

Читали через день, два. У каждого своя манера. Бердяев говорил торжественно. Франк глубоко. Вышеславцев блестяще. Осоргин весело. Чупров простодушно. Все старались. В общем же получилось: не из одних деревообделочников состоит Россия.

Итальянцы относились к нам отлично. В римской прессе много, хорошо писали. Устраивались приемы, вокруг группы нашей сложился слой постоянных слушателей, сочувственных. Были некие и полуримские, полурусские друзья, странники, как и мы: вечный эмигрант Каффи, русский индус Сураварди — друг Художественного театра, нынче он в Риме, завтра будет читать в Калькутте — может быть, тоже о России.

Помню кое-кого из старомодных профессоров. Помню Ольгу Ивановну Синьорелли, мило нас принимавшую, и герцогиню с историческим именем — говорили, что ей принадлежат необъятные земли в Сицилии. И

вот именно она, молодая еще барышня, как скромная курсистка ходила нас слушать, а потом пригласила к себе в гости.

Это предприятие оказалось и несколько смелым. В Риме девушка высшего света не могла, собственно, принимать иностранцев, да еще без дам. Герцогиня проявила здесь своеволие (вроде русских аристократических барышень XIX века, знавшихся с нигилистами).

Мы нигилистами не были, но в огромном палаццо, где-то вблизи Корсо, нас провели не-парадными лестницами наверх, в антресоли: личные апартаменты герцогини. Там все было просто, уютно. Небольшие комнаты, нехитрая обстановка, можно подумать, что в гостях у петербургской бестужевки, ученицы Гревса. Худенькая, черненькая герцогиня была серьезна, может быть, несколько и стеснялась северных медведей, может быть, и половины Сицилии своей пред интеллигентскими козлобородками стеснялась, но была приветлива и проста, хотя очень сдержана. Угощала нас по-студенчески — вообще на Рим мало похоже.

Видимо, жаждала она знаний и «света». А уж всем ясно, что свет с востока.

Бердяев с пышной своей шевелюрой, галстук бабочкой, картинно раскинувшись в кресле, ораторствовал. Помогал Осоргин — ласковым и веселым разговором.

Все-таки получалось вроде театра. Театр симпатичный, но после него проще чувствуешь себя в „Est, est, est“, или в кабачке у фонтана Треви, где выступает гитарист и ему аккомпанирует девочка-дочь. И потом по ночному Риму, мимо палаццо Барберини с пчелами в гербе, по улице Quattro fontane возвращаешься домой, на улицу Principe Amedeo, в мещанское пристанище Пульхерии Ивановны. Рим не был еще тогда так шу-

мен, как теперь. Его ночная музыка, как полагается ему — плеск нежных струй бесчисленных его фонтанов.

Ход истории

В юности моей Римом правили Джиолитти, Титтони — старомодные либералы. Носили эспаньолки, ездили в колясках. Строили бездарный памятник Виктору Эммануилу. Как и мы сами тогда — думали, что вот и дальше так будет, трух-трух понемножку да потихоньку — «мирная эволюция».

Вышло не столь уж мирно. Не весьма мирно воевали, после войны всюду расклеен был в Италии на стенах древних руин Ленин. Потом опять изменилось. Даже в тихом нашем Кави появились молодые люди в черных рубашках, всегда готовые к «прямому действию» — fascisticamente. Напевали они Giovinezz'y — фашистский гимн.

Много видел Рим на своем веку. Теперь в его пейзаж тоже влились эти черные рубашки, молодые, простовато-грубоватые.

На родине мы навидались товарищей. Эти — тоже товарищи, только навыворот. В первый раз встретился я с ними у Ватикана в ресторанчике. У них был в Риме съезд со всей Италии. Муссолини опьянял их фантазиями об Империи, о величии Италии. Они понаехали со всех концов, но в Риме, как провинциалы, держались довольно скромно.

И вот, близ Берниниевой колоннады, на фоне св. Петра, юный сосед по столику, в черной рубашке, спросил меня, как пройти ближе на Via Giulia. Я был горд — меня приняли за римлянина! Объяснил ему, как умел. По мере того, как говорил, на загорелом двадцатилетнем лице разливалось недоумение. Странный акцент! Может быть, я с юга Италии? (А он был из Бер-

ґамо). Узнав, что я не из Апулии, а из Москвы, не без опасения на меня поглядел, вежливым, однако, быть продолжал. Но успокоился лишь когда я сказал, что я russo bianco.

В тот же день, в гостиной Синьорелли слышал я впервые от мужа Ольги Ивановны, итальянского доктора, рассказ о том, как Муссолини на их глазах овладел Римом (знаменитый «поход на Рим» — с горстью фашистов Муссолини пришел из Милана).

— Вот тут, у Porta Pia и была баррикада . . .

Но ее никто не защищал. Удивительно, как легко стал Муссолини диктатором — собственно потому, что все почтенные Милюковы Италии так же отцвели, как и у нас, сопротивления не оказали. У нас был Ильич, у них Муссолини. Столкнул их fascisticamente, не очень стесняясь и решил, что создаст великую национально-трудовую Империю, мирового размаха.

Это были как раз медовые его дни: надежды, фантазии. Иной раз, завтракая с Вышеславцевым и Натальей Николаевной на Piazza Venezia, запивая белым Фраскати удивительные pesci fritti, с любопытством поглядывали мы на Palazzo Venezia, где в необъятном зале-кабинете заседал этот Муссолини, обольщаясь несбыточным, не лучше Джиолитти и Титтони не угадывая будущего. Но и мы тогда никакого будущего не угадывали. А История шла своим ходом, никого не спрашиваясь, вознося и низвергая.

«С капитолийской высоты
«Во всем величьи видел ты
«Закат звезды его кровавой . . .»

И дальше:

«Блажен, кто посетил сей мир
«В его минуты роковые . . .»

— строки знаменитые. (Но я лично предпочитаю не-роковые. Насмотрелись мы на эти «роковые»). Муссолини Тютчева не знал, имени его никогда не слышал. Но пришел как раз во-время.

Palazzo Farnese

> «Вчера дочь французского посла показывала нам свои апартаменты в Палаццо Фарнезе с фресками Караччи...»
>
> «Мы с Вышеславцевым страшно хохочем, до чего мы стали светскими людьми».
>
> (Рим, 6 ноября 1923 — письмо в Кави жене).

Старая часть Рима, закоулки, Campo di Fiori, via Giulia, будто бы и неказистые места, но каждый камень — история. На небольшой площади дворец Фарнезе, одно из чудес Рима. Знаменитые его карнизы, весь величественный и суровый облик (отчасти детище Микель Анджело) — все мы снаружи его знаем, а кто был внутри? Там французское посольство. И фрески Караччи. Но смотреть их нельзя: посольство не музей. (Так было в 1923 году).

Был серенький осенний день. Мы подходили к подъезду этого палаццо: Вышеславцев, его жена Наталья Николаевна и я — у нас были особые разрешения на осмотр.

Старый лакей в ливрее, штиблетах, с пробритым подбородком, как у наших капельдинеров в Большом театре, не торопясь повел по лестнице, потом еще куда-то через залы, смежные комнаты — в одной из них

нам навстречу поднялась из-за письменного стола скромно одетая, интеллигентного вида девушка.

— Очень приятно. Я знала, что вы придете, меня известили. Вы хотите видеть Караччи?

Это была дочь французского посла.

— Будем очень благодарны.

Она поправила слегка на голове прическу, улыбнулась и повела нас еще через какие-то комнаты. Шли мы довольно долго. Она знала, что мы из России, бывала на чтениях наших, видимо, ими интересовалась. Да и вообще барышня образованная и культурная. Без всяких следов касты.

И вот она отворила дверь — мы оказались в длинной, неширокой зале-галерее. Свет, свет, свет . . . Просто все залито светом из огромных окон. Паркет устлан белейшими мягкими коврами. Такой чистоты и пуховости ковер, что жутко на него становиться — запачкаешь. Но какое он дает беззвучие!

Тут и находится знаменитая «роспись залы дворца Фарнезе» братьев Аннибале и Агостино Караччи.

Позднее дитя Ренессанса, конец XVI века. Называют Караччи эклектиками, наряду с Гвидо Рени, Доминикино. Другие — зачинателями (особенно Аннибале) барокко.

Так ли, иначе, все великое и главнейшее уже найдено. После Рафаэля, Тициана, Микель Анджело остается брать многое готовое, применять его к своему душевному складу. Аннибале Караччи был художник великого изящества и тонкости, с чертами даже нежности (это сильней выражено в нашей Луврской Мадонне и картинах Неаполитанского Музея. Но и тут, у Фарнезе: Диана и Эндимион — при всей декоративности полно чувства).

Мифология! Вакх. Пан. Селена, Ариадна и Диана — все это переселилось в сияющую залу дворца Фарнезе (личные апартаменты посла), ведет здесь уединенную жизнь.

Хозяйка присела на небольшую скамеечку у стены.

— Я люблю эту залу и Аннибале Караччи. Иногда утром прихожу сюда и сижу тут подолгу.

В манере говорить, движениях, некоей задумчивости этой знатной, но и простой девушки, осталось для меня нечто душевно близкое. «Три сестры» не слыхали никогда о Караччи и в Риме им не бывать. Но если бы менее были они запрятаны в глушь, я бы не удивился, увидев Ольгу или Ирину в одиночестве и меланхолии любующимися Дианой и Эндимионом, вот как эта чужестранная их сестра.

Мы довольно долго бродили по бесшумным коврам, безмолвно в этой безмолвной зале — громко говорить и не подходило бы.

А потом хозяйка повела нас через другие комнаты.

— Тут вот можно взглянуть на Тибр.

Мы находились в столовой. Два лакея, помоложе приведшего нас сюда, накрывали на стол к завтраку. Тоже все было тихо и чинно. Слабо позвякивала посуда. Нежно сиял венецианский хрусталь графинов, бокалов. Темнокрасные розы на столе.

Стеклянная дверь отворилась, мы вышли на террасу. Падавшие с каштановых деревьев листья, поосеньему побуревшие, шелестели под ногой. Внизу, казалось совсем под террасой, катил воды Тибр, кофейно-мутный, вечный. По нем тоже плыли листья. Над ним и над нами, и над всем Римом воздымался купол Апостола. Бледный луч солнца, на минуту открывшийся, прошелся и по куполу, и по Тибру.

Некие минуты

Бродим с Вышеславцевым у Тибра, выбираемся на другой берег, выше Фарнезины (откуда немало добра у Караччи — Рафаэль!). Подымаемся дальше памятника Гарибальди и виллы Дория Памфили, знаменитой анемонами своих лужаек.

Выходим и совсем из Рима. Для чего? Неизвестно. Просто дух бродяжничества и некоей восторженности. Все нравится! Все интересно. И Ватикан, и огороды, сразу тут начинающиеся. И вот этот тихий облачный римский день.

Сентябрский серенький денек
И я как прежде одинок...

Нет, нынче мы не одиноки, это Андрей Белый так написал, а у нас, напротив, подъем. Мы воодушевлены. Рим. Италия...

— Борис Петрович, давайте тут и позавтракаем.

Я предложил первую попавшуюся корчму, с деревянными скамейками, рабочие тянули из горлышка вино. Вышеславцев нашел, что это уж слишком, можно получше. Прошли дальше, выбрали остерию почище, но тоже сидели под открытым небом и тоже на деревянной скамейке у стола без скатерти. Тоже кругом огороды, кочны капусты, над нею, совсем вблизи, будто из под земли (нижняя часть Собора закрыта холмом), воздвигается купол св. Петра.

Это все было. И остерия. Вышеславцевы и Рим, и огороды, и Ватикан. А кажется примерещившимся. Но напрасно. Это просто былое. Как был в тот же день небольшой прием у Синьорелли, с Логатто и профессо-

рами итальянскими. И Пиранделло спросил у меня, самый ли замечательный наш драматург Евреинов?

Так же не сон и тот вечер, когда Сураварди водил нас с Осоргиным в гости к художнику, женатому на шведской журналистке. Близ самого Ватикана мы спускались при звездном небе в какой-то ложок, где в старинном небольшом доме жили художники. Пахло лимонными деревьями, теплой сыростью Рима. Шаги в полутьме дворика звучали по плитам. В двух освещенных комнатах, куда мы попали, выходивших окнами на косогор, было светло и весело. Пили вино. Я играл в шахматы со шведкой. Над косогором, каким-то садом по нем, заросшим всяким благоуханным добром, воздымался вездесущий Петр. Огромная звезда зацеплялась недалеко от его темного профиля за веточку олеандра. Все это, конечно, было.

* *
*

Решено, что теперь мы, приезжие, даем маленький дружеский обед Логатто и близким итальянцам. Я и Каффи оказались дуумвирами по ресторану: нам поручили его найти, сговориться, создать и заказать меню.

Худой, остроугольный Каффи, вечный странник и эмигрант Россией раненный (а сам итальянец), римлянин с русской прослойкой, выбирал тщательно: чтоб и недорого и прилично. Я прилично ему сопутствовал.

И в назначенный вечер узкая комната ресторанчика со стекляшками на висящих нитях у входа наполнилась братией нашей — на почетном месте Гектор До-

миникович, вперемежку русские и итальянцы. Начался весело-бестолковый симпозион, никак не похожий на порядочные западно-европейские литературные обеды. Сколько съедено было макарон! Пострадали и куры, и агнцы, и сыры (горгонзола главнейше). Оплетенные фиаски с красным содержимым появлялись, уходили. Даже Бердяев, Франк не могли же чокаться с Логатто молоком.

Все это прошумело тоже и прошло, оставив легкий и веселый след.

Отплытие

Requiem aeternam . . .

Тридцать три года — время человеку созреть, да и умереть. Мир сотрясался, государства перестраивались. Новые смерчи возникали, проходили.

Мы, тогдашние гости тогдашнего Рима, разъехались по домам — кто в Париж, кто в Германию, Чехословакию. Ничьи судьбы, слава Создателю, от нас не зависели: ни народов, ни государств. Как умели мы жили, радовались, страдали и умирали. Ясно вижу всех наших тогдашних: южно-русского живописного Бердяева, немногословно-глубокого Франка, Вышеславцева артистичного и элегантного, изящную Наталью Николаевну, красивого Осоргина, странника Каффи, темноцветного Сураварди, простодушного Чупрова, серьезного Новикова.

Время не напрасно проходило. Его дело — приносить и уносить. Вместо нас оно приносит новых, мало нам известных. Но вполне известны те, кого уносит.

Рим изменился с тех пор, но на то он и Рим, чтобы, меняясь, оставаться вечным. Купол св. Петра виден попрежнему ранее города. Ватикан непоколебим.

Мы, случайные и счастливые гости, сколько дано было кому, прожили.

1956—1964.

КОНЕЦ ПЕТРАРКИ

Сергею Эрнсту.

Помню с юношеских еще времен путь от Падуи на Болонью: равнина с полосами пшеницы, гирляндами виноградных лоз от яблони до яблони по межам, иногда ковры красных маков. Поезд, treno omnibus с поперечными отделениями в вагонах, не торопится. Третий класс, итальянские крестьяне с загорелыми лицами — глаза кажутся на них светлее. Нехитрая добродушная болтовня. Кудахтанье курицы в кошёлке, смех молоденьких черноглазых синьорин.

На станциях предлагают оплетенные фиасочки кианти.

— Ferrara, Ravenna, Rimini si cambia!

Так выкликали пересадку благодушные кондуктора под главенством capo della stazione, усатого начальника станции в красной фуражке, как у нас во времена чеховские.

Нам, по молодости лет и незнанию языка, казалось, что кроме Феррары и Римини есть еще и неведомый городок Сикамбия, куда тоже можно проехать (а это значит просто «пересадка»).

И вот в некое время появляются к югу от Падуи холмы — невысокие, но весьма приятные. Мягкие и изящные, в виноградниках, по ним небольшие селенья

— дальше городок Монселиче, опять остановка, снова кианти и Сикамбия.

Дальняя тишина Альп, почти фантастических, это одно, таинственный надземный мир. Эти возвышенности *свои*, это часть здешнего пейзажа, здешней жизни: Евганейские холмы. Отсюда недалеко и до родины Вергилия. Здесь бродил некогда Уго Фосколо. Шелли упоминает о них. Эти края не могут не нравиться поэтам.

Недалеко от Монселиче, в стороне от дороги, выбрал себе Петрарка последнее пристанище: местечко Аркуа, конец страннической и одинокой его жизни.

* *
*

«Я был зачат в изгнании и родился в изгнании», сказал он о себе. Биограф добавляет: «Он и остался изгнанником».

Гражданские войны не с наших времен существуют. В век Данте и Петрарки были они чуть не общим правилом (в средней Италии). Одна половина горожан выгоняла другую, потом наоборот.

Собственно настоящим изгнанником был отец Петрарки, нотариус мессер Петракко из Ареццо, принимавший участие в междоусобице. Из-за нее ребенок Франческо, будущий поэт, и лишился родины, попал в Авиньон, где основалась вся семья. Там и вырос, прославился, в Воклюзе близ Авиньона провел лучшие годы и лишь пятидесяти лет, уже знаменитым, увидел Италию.

Изгнание его было не такое, как у Данте. Никто ему не угрожал, опасности он не подвергался. Напротив, был даже увенчан в Риме на Капитолии.

Переписывался с папой, королями и кардиналами, слава его была необычайна. Верхи ценили в нем, может быть, более эрудита, знатока древностей, итальянские же его стихи доходили (без книгопечатания) и до простых людей. Что мог знать о нем, кроме канцон о Лауре, слепой из городка Понтремоли? А вот именно он и отправился в дальнее странствие только затем, чтобы «услышать голос Петрарки и дышать тем же воздухом, что и он». Или скромный ювелир — поклонник из Бергамо? У Петрарки было много почитателей.

Он любил славу, но глубоко чувствовал смерть и вечность, в зрелом возрасте вел жизнь полумонашескую, молился не только днем, но вставал и ночью, — всегда каялся и даже поклонение Лауре считал слабостью.

После разных скитаний по Италии поселился, наконец, в этом Аркуа, на Евганейских холмах, с дочерью и ее семьей.

Передо мной фотография дома Петрарки. В те времена строили основательно: дом простоял шестьсот лет — теперь в нем нечто вроде музея. Дом одноэтажный, простой, с черепичною крышей, лоджией — балконом в сад, густо разросшийся, где чувствую присутствие лавровых деревьев. Окна старинные, овальные. Со строгого бокового фасада смотрит балконная дверь — суховато смотрит, и только балкончик украшен лирообразной железной решеткой — очень изящно, мелочь, говорящая о стране искусств. Из-за угла крыши виден кусочек одного из тех Евганейских холмов, что нравились мне еще в молодости.

Петрарка был уже стар. Главная его радость теперь — книги, писание. Здесь написал он «Триумф Вечности», заключительную часть «Триумфов» — поэм видений. Каждый Триумф поглощает предыдущий. Лю-

бовь господствует над всеми людьми, сам поэт был подвержен ей. Но Целомудрие, под видом Лауры, побеждает Любовь. Смерть торжествует над всем вообще, даже над добродетелью. Дальше идут Слава, переживающая Смерть, но Время одолевает и Славу. А все упокояется в Вечности, возводящей на небо к Богу.

Если всегда много думал о смерти — еще в Воклюзе, ложась спать не был уверен, встанет ли утром — то здесь конец жизни сильно придвинулся. Одолевали старческие немощи, но он духом не падал. «Я живу, дорогой брат, без шума, без путешествий, без забот, всегда читаю и пишу, благодарю Бога и за счастье и за недуги мои, которые, если не ошибаюсь, не в наказание мне даны, а для постоянного испытания». Просит у Бога «доброго конца» и отпущения «грехов юности».

И какой писатель в этом полумонахе! Сколь древний прародитель всего нашего сословия!

Друг его Боккаччио пишет ему из Чертальдо, вблизи Флоренции — его беспокоит, что Петрарка много работает. Но тот полагает, что так и надо. «Постоянный труд и прилежание — пища моей души. Если я прекращу и стану отдыхать, то скоро прекратится моя жизнь» — правило, кажется, вековечное для преданных своему делу. И еще, тоже всегдашний завет для братии нашей: «Нет бремени легче, чем перо, и нет более приятного».

Этим пером некогда были написаны, еще в Провансе, те сонеты и канцоны «На жизнь Мадонны Лауры», «На смерть Мадонны Лауры», которые обессмертили его имя. Он писал их по-итальянски и как будто стеснялся, что не по-латыни. В старости всю эту любовь к Лауре считал грехом и писал длинные латинские поэмы, вполне забытые.

И вот теперь, в скромно-прелестном Аркуа, стране отличного вина, средь виноградников, олив, с дальними

видами на равнину в сребристой дымке, в обрамлении Альп, он трудился, кроме «Триумфов», и над «Жизнью Цезаря».

В Цезаре заключалось некое душевное его изгнание. Он Италию обожал, но видел ее сквозь древний Рим, хотел ее «как великое государство». Подобно Данте ждал какого-то императора, сильную власть, которая объединила бы и привела в порядок страну прекрасную, но раздираемую распрями. Как произошло с Данте, как бывало и с другими изгнанниками, надежды его на иностранцев не оправдались. Как и у Данте, политика не удалась, поэзия же осталась бессмертной.

В Аркуа, впрочем, политикой он уже не занимался. Кроме литературы привязан был к семье дочери, очень любил маленьких внуков. Смерть одного из них переживал, как великое горе.

• •
•

Был еще один род литературы, которому он предавался здесь, как и в прежние времена, усиленно — письма. Его письма ставятся вообще высоко, в один ряд с цицероновыми, то есть в мировой ряд. Он любил эту форму, писал много, охотно отделывал и переписывал. До нас дошло пятьсот писем его. Они рано прославились, еще при его жизни.

В самом Аркуа жили тихо, с оттенком идиллии. Но вокруг не было покоя. Постоянно шли мелкие войны. Тут уже не грабители, а воинские заставы осматривали багаж проезжавших. Петрарка иногда нарочно не запечатывал писем — пусть прочитают, поучатся.

От последних месяцев жизни его здесь, в Аркуа, сохранились письма к Боккаччио в Чертальдо.

«Что касается меня, то из следующего за этим письма ты увидишь, как я далек от твоих советов быть ленивым. Я не довольствуюсь своими огромными предприятиями, на которые не хватило бы моей жизни, если даже ее удвоить. Постоянно ищу новых и новых трудов, настолько ужасна для меня дремота и вялость праздности» . . .

. . . «Да, теперь-то мне и кажется, что я начинаю — что бы вы обо мне ни думали — ты и другие — вот мое мнение о себе самом. И если, среди всего этого, придет конец моей жизни, который, конечно, не может быть очень далек — я бы предпочел, не скрою, найти в конце жизни юность. Но как в моем положении это невозможно — я желаю, чтобы смерть застала меня за чтением, писанием, или еще лучше, если угодно Господу Иисусу, за молитвой, в слезах».

После этого письма он написал Боккаччио еще одно, предсмертное. (Предыдущие пролежали у него два месяца: не находилось никого, кто мог бы доставить их в Чертальдо — очевиднно, дороги были слишком опасны).

Это третье письмо показывает и трудничество последних его дней, и любовь к Боккаччио: он перевел на латинский язык и отправил другу перевод знаменитой заключительной его новеллы (из «Декамерона») о Гризельде, прославление женского терпения и смирения. Боккаччио не всегда писал легкомысленное!

В Национальной Библиотеке есть экземпляр последнего произведения Петрарки «Жизнь Цезаря». По нем видно, как надвигался на него недуг, как портился почерк и как упорно боролся Петрарка: начало каждого дня крепче, к вечеру он устает и рука слабеет. 20 июля 1374 года, в день своего рождения, (ему исполнилось

семьдесят), Петрарка найден был за письменным столом без сознания. Не приходя в себя, скончался.

А некая страница «Жизни Цезаря» так и осталась недописанной. С первых строк ее рукопись обрывается на полуфразе. Это и была смерть, умер он воистину, как полагается писателю. С тем, что любил, в чем прожил жизнь.

* *
*

В то, первое свое путешествие, я слишком мало знал о Петрарке и Евганейские холмы прошли просто изящными видениями.

Но позже, в той же Флоренции, куда мы тогда неторопливо пробирались (в Болонье тоже была сикамбия) — именно во Флоренции я и купил томик его стихов. Это случилось на одном из скромно-бессмертных мест мира, на небольшой площади церкви Сан Лоренцо. В церкви этой «Ночь» и другие творения Микель Анджело, рядом библиотека Лауренциана, на площади старый кондотьер Джиованни делле Банде Нере сидит на вросшем в землю пьедестале. Тут же рынок, торговали мылом, гребешками, висели красные шубы для извозчиков с собачьими воротниками, по тринадцати лир шуба. Стояли и ларьки с книгами. Оттуда родом мой Петрарка — нехитрое издание, но в переплете с корешком ослиной светлой кожи. Он уехал со мной в Россию, долго там жил. По нем я несколько и вошел в его мир. Книжка же с пергаментным переплетом погибла в России, в революцию. Но поэтический след остался — и в ранних моих писаниях, и в душе, в воспоминании о страшных годах. Такой спутник помогал тогда. («Звон светло-серебряный стиха Петрарки»).

И теперь, вдали от родины и от Италии, вновь донеслась о нем весть. Глядя на изображение его дома, дружеской рукой присланное из Аркуа, на листик из его сада (сентиментально, но неплохо), думаешь о том, что все-таки еще хотелось бы побывать в тех местах — порадоваться на Евганейские холмы, с маленькой станции съездить на деревенском автобусе или на извозчике в недалекое Аркуа. Побывать в доме и комнатах Петрарки, посмотреть на кресло, где он сидел. По улице спуститься вниз к церкви, где на деревенском кладбище упокоились его останки — могильный памятник розового мрамора увенчан небольшим бюстом Петрарки.

1954.

«ПОВЕСТЬ О ДВУХ ГОРОДАХ»

Памяти П. П. Муратова

Мантуя

«Мы приближались к Мантуе. Жаркий августовский день был готов разразиться грозой. Навстречу бегу поезда быстро двигалась сошедшая с Альп сизая туча».

Так описывал мой покойный друг Павел Муратов свое приближение к Мантуе. Немало в свое время странствовали мы с ним по Италии, но вот в Мантуе он был один — впрочем, вообще гораздо больше путешествовал, чем я (три тома «Образов Италии» — незабвенная в нашей литературе книга о стране этой).

Я не был никогда в Мантуе, но присутствие ее художническое и духовное чувствую. Этот странный город среди озер и болот, край Вергилия („O anima cortese Mantovana“ — Данте), город, прикрытый озерами и болотами, если и не вполне так, как лагуною Венеция — я ощущаю его уединенное величие, связанное с искусством, культурой, наукою. Таинственное место, где маркизы Гонзага создали удивительное гнездо просвещения и мирного творчества. Мантуя, как Феррара и Урбино — именно излучение искусств, нечто высшее распрей политики.

Мантенья, придворный художник маркиза Лодовико, провел почти всю великую свою жизнь в этой Мантуе. В старом гонзаговском прибежище, Castello, в зале Camera del Sposl, увековечил их семью. Какое спокойствие всей композиции! Какое величие! Как будто ни бурь не бывает здесь, ни страстей, ни страданий (сравнительно с другими, мантуанский двор, действительно, был более благополучен).

Лодовико важно беседует со склонившимся к его креслу министром, Барбара, жена, задумчиво смотрит вдаль, юноши, дети, все в полном покое и торжественности, даже широколицая карлица невозмутима. А писал это Андреа Мантенья, человек вовсе не такой уж спокойный, нелегкий, с тяжелым характером. В творчестве же своем удивительно ровен, величествен, всегда склонен к грандиозно-классическому. Это человек более античного мира, чем христианского. (Изобразил S. Giacomo, исцеляющего калеку на фоне могучей римской арки. Монументальные солдаты вокруг, знамена, скромный святой как-то затерт среди них — Мантенье он, разумеется, менее интересен, чем они).

Гонзаги прочно засели в Мантуе и прочно насаждали культуру. Три типографии, знаменитый педагог Витторино да Фельтре — к нему съезжались ученики и ученицы со всей Европы. (Сам Лодовико был его учеником и сохранил к нему такое уважение, что уже будучи государем не садился в его присутствии).

Музей древностей, художники как Пизанелло, Мантенья, Донателло, проживший у них два года, архитектор Леон Баттиста Альберти, изящный как творения его, как будто с лицом нашего времени — скромного писателя или художника. Позже — Джулио Романо, тоже много здесь поработавший. Так что целый цветник...

* *
*

Страшной грозой встретила Мантуя Муратова, ливнем, не охладившим ночи в душной комнате гостиницы, с кисейными занавесками от москитов (кто не мучился летом в Венеции от этих zanzara!) — но как идет Мантуе озерно-болотной эта духота летняя, грозы, москиты . . .

Утро дало русскому пилигриму солнечную, сияющую Мантую, детище этих Гонзага (вовсе и не так богатых: чтобы во-время заплатить Мантенье, маркизу пришлось заложить фамильные драгоценности, впрочем, папа Иннокентий VIII закладывал свою тиару, таково было время!).

Особый блеск Мантуи — при внуке Лодовико, Франческо Гонзага, женатом на Изабелле д-Эсте, женщине знаменитой, воплощавшей в себе дух Ренессанса со стороны культуры и меценатского собирательства. Всю жизнь отдала она собиранию художеств, покровительству искусству, заказывала картины, привлекала художников, поощряла, порицала, если не нравилось заказанное. И хорошо сделала, конечно, заменив этим семейную жизнь и любовь (как будто и вообще не ее это область). Хорошо, что она была больше интеллектуальной женщиной, чем женщиной чувства: муж ее, Франческо, некое исключение у Гонзага — с виду настоящий пес (по крайней мере такой на бюсте Джулио Романо — не знаю уж, нравился ли он себе в таком изображении). Лохматый, грубый вояка, занимался охотами, любовницами. Был генералом венецианских войск в битве при Форнуово против французов Карла VIII. Под его началом была полудикая конница далматинская, он обещал по десяти скуди за каждую голову француза — воображаю, что выделывали эти головоре-

зы! Битва была кровавая и обе стороны считали себя победителями.

Мантенья увековечил и этого Франческо.

„Madonna della Vittoria“ (Лувр) — в великолепной капелле Мадонна с видом королевы благословляет стоящего у ее трона на коленях, в воинских доспехах курносого Франческо Гонзага. И даже Младенец на ее руках благосклонно взирает на него.

Но вот сложность и пестрота бытия! Его родная сестра, герцогиня Елизавета Урбинская ни во что поставила бы этих далматинцев — изящная и тихая, друг Изабеллы д-Эсте, собирает у себя цвет тогдашней элиты духовной.

А Цецилия Гонзага, в самой Мантуе! Правда, она раньше его жила, все же в той же Мантуе. Такой Франческо и смиренная юная праведница с именем знаменитой христианской мученицы.

Училась она у того же Витторино да Фельтре. Была девушкой необычайных способностей и одаренности, ненадолго залетела в мир Мантуи, скончалась совсем юной. Но след оставила — одна из красот Мантуи. Люди проходят, шум, слава, богатство... — искусство остается. Его тихий иногда голос слышен через столетия. Эту Цецилию, еще отроковицей беседовавшей по-латыни на богословские темы, увековечил Пизанелло, расписавший залы в Кастелло Гонзага, особенно прославленный медалями своими.

Она изображена на его медали — тонкий и длинный профиль, огромный пучок волос на затылке, высокая изящная шея, девический стан, платье вроде хитона, прямыми складками ниспадающее. Нечто кроткое, далекое от грохота и треска жизни, именно тихая мантуанская праведница, ненадолго залетевшая в этот мир. Недаром ценил и любил ее так Витторино да Фельтре,

её учитель, основатель «Пансиона» Casa Gioisa — Дома Радости, где преподавал он европейскому юношеству в мире, любви, играх, прогулках, общении с природой вершины науки, философии, поэзии. Конечно, Цецилия наизусть знала отрывки Вергилия, поклонялась Платону и пифагорейцам.

На обратной стороне той же медали изобразил Пизанелло Цецилию более таинственно и еще более обаятельно: юная дева, с едва прикрытым худеньким телом, опирается правой рукой на покорного, мирного единорога, вполне ей подвластного. Его рог торчит горизонтально, несколько нелепо, но сам он, со смиренной своей мордой, длинной шерстью на теле так же трогателен, как и дева, на него опирающаяся. Единорог — символ мудрости. Вдали вулканические горы. Загадочный полумесяц в таинственном тумане освещает это общение девы с мудростью, вблизи стелы, на которой Пизанелло и свое имя не забыл начертать.

Вот такою-то, от величественного Мантеньи, через просвещенных Гонзага и Изабеллы д-Эсте, до смиренной Цецилии и была Мантуя, замечательная и мало заметная среди своих озер и болот — город искусств и культуры. Не довелось его видеть, ощущаешь отраженно.

Урбино

«Царство солнца, тишины и одиночества», говорит Сизеранн. В том же духе и Муратов. «Есть нечто бесконечно прекрасное в этом дворце» (Урбинском, Б. З.) . . . «озаряющее золотым отблеском чистейшего Ренессанса приветливое и тихое Урбино».

Верю на слово, вполне верю, как и в то, что не случайно родился именно в Урбино Рафаэль.

Но тоже не довелось видеть ни этого дворца, ни пейзажа урбинского, ни горы Монте Катриа.

А «лично» с Урбино все-таки был связан, в давние годы, еще в России, в деревне, и через Рафаэля и через книги.

Как и в Мантуе — да как и вообще в мире — удивительные контрасты. Глава, «слава Урбино» — герцог Федериго да Монтефельтре, воин, кондотьер на службе у Венеции, у папы, у кого угодно. Замечательный полководец, набожный человек и величайший любитель наук и искусств. Собственно, и войсками-то командовал, чтобы зарабатывать на книги и художества. Лучшая библиотека тогдашней Европы! Федериго этот «покраснел бы от стыда» если бы в его библиотеке нашлась хоть одна напечатанная книга: все драгоценные рукописи, с художественными миниатюрами, всегда редкости, иногда уники.

При дворе работал Пьеро делла Франческо и передал нам облики самого Федериго и жены его Баттисты Сфорца на знаменитом профильном диптихе во Флоренции (Уффици). Иначе как в профиль Федериго и не напишешь: другой глаз его выбит копьем на турнире — суровый, умный профиль и так-то обезображен ущельем у переносицы. На него смотрит другой, женский профиль некрасивой, смиренной женщины, его жены, подвижницы и мученицы материнства. Эта Баттиста Сфорца, как и Цецилия Гонзага тоже была ученейшая женщина, тоже с юности могла говорить с папой римским по-латыни. Тринадцати лет была выдана замуж, с пятнадцати начала рожать — каждый год по дочери (а Федериго мечтал о наследнике). Молилась св. Убальдо, чтобы родить сына. И родила, наконец, после семи дочерей. Видела пред рождением его вещий сон — Феникс улетал к солнцу. Поняла — смерть. Но

она и молила только о сыне, не о себе. Родила и умерла. Было ей двадцать пять лет.

Она родила слабенького, хилого и несчастного Гвидобальдо Урбинского. (Ему дали имя в честь давнего предка Гвидо, которого Данте запрятал в ад и в честь св. Убальдо, помогшего ему — на его же горе — увидеть свет Божий. Опять удивительное сопоставление: великий грешник соединен в одном слове со святым).

Юст Гандский изобразил герцога Федериго в кресле, читающим священную книгу. Рядом с грандиозом его и доспехов его воинских маленький мальчик с кротким лицом держит в ручке скипетр — это «наследник», Гвидобальдо.

* *
*

Некогда, увлекаясь Урбино и жизнью его высокопросвещенного двора, собирался я даже написать нечто из того времени, вроде повести — о неподходившем к эпохе, незадачливом и безответном Гвидобальдо, о жене его, Елизавете Гонзага, родной сестре лохматого пса Франческо — тоже ничего общего не имевшей с братом, тоже болезненной и очаровательной, образованнейшей и утонченной герцогини Елизаветы, нежной подруги Изабеллы д-Эсте.

Повесть не написалась, но в воздухе Урбино жил я довольно долго, находясь в глуши Тульской губернии. Во время революции.

Как бы то ни было, но по смерти носатого Федериго герцогом Урбинским стал Гвидобальдо, и если войнами не занимался, то художники, ученые, поэты процветали при дворе Урбинском. Бородатый граф Кастильоне, чей портрет рафаэлевский висит в Лувре, описал

в книге своей „Il Corteggiano“ («Придворный») жизнь и изящные бдения вечерние этого двора.

Удивительно было читать при раскатах революции русской о кардинале Бембо, Чезаре Гонзага, самом Кастильоне, Пьеро делла Франческо и Юсте Гандском из Нидерландов, о философско-поэтических вечерах у герцогини Елизаветы, где говорилось о любви, Платоне, высших реальностях бытия. Гвидобальдо где-то за сценой, его не видно, но он тут, тоже изящный и просвещенный, неблистательный и никак не правитель — (наш «Царь Федор»: — «Я царь или не царь?»).

Несчастлив он был и в политике и в сердечной жизни — родился как бы полу-мужчиной, мог больше только говорить об эросе да слушать о нем, да покровительствовать художникам.

Как напомнил мне все это отрывок русского перевода „Corteggiano“, попавшийся мне здесь! (В Притыкине я читал его по-итальянски). «Синьор Гаспаро уже собрался ему отвечать, но герцогиня сказала, что пусть будет судьей им мессер Пьетро Бембо, и на его решение останется спор их: способны ли женщины испытывать любовь божественную так же, как мужчины, или же нет?» (Дело происходит на вечере-диспуте у герцогини Елизаветы Урбинской).

Герцогиня предложила отложить прения «до завтра», но Чезаре Гонзага возразил, что «вернее» — до нынешнего вечера». Оказалось, наступило уже утро. Они не заметили этого. Лишь когда Елизавета отдернула занавеси, из окна ясно показалась вершина Монте Катриа. «Они увидели, что на востоке уже занялась прекрасная розовая заря и что исчезли все звезды кроме сладостной правительницы небес Венеры, которая царствует на границах дня и ночи» (Перевод П. Муратова).

Радостно мне было увидеть вновь эти строки, в итальянской одежде волновавшие более сорока лет назад в глуши русской деревни. Повести не получилось, но в душе светлый след остался.

А мирная жизнь Урбино с Платоном, Бембо, звездой Венерой продолжалась недолго: хищник Цезарь Борджиа слопал это герцогство. Гвидобальдо и Елизавета стали изгнанниками — хорошо еще, что уцелели! Если не ошибаюсь, приютила их Изабелла д-Эсте в Мантуе. Библиотека покойного Федериго уцелела — его бесценные манускрипты на пергаменте, в бархате, с редкостными миниатюрами попали в Ватикан и доныне целы.

1962.

«ЧЕГО УЖЕ НЕ УВИДИШЬ»

За все благодарите

Ап. Павел.

Был некий день во Флоренции XV века, когда несколько скромных художников в плащах и деревянных башмаках стояли на площади Санта Мария дель Фиоре, разговаривая о памятниках древности. Нехитро одетые, некоторые из них прославили свое имя навсегда. Донателло только что побывал в Риме, оттуда вернулся через Орвието и Кортону — видел знаменитый орвиетский собор, а в Кортоне поразил его удивительный мраморный сосуд в церкви, украшенный скульптурой.

Брунеллески, выслушав рассказ Донателло, так воодушевился, что не говоря ни слова, как был в своих деревянных башмаках и плаще, в тот же день отправился пешком в Кортону. Верст полтораста! Просто пропал Брунеллески, приятели удивлялись, куда он девался, но он преспокойно появился через некое время: сделал и принес с собой рисунок сосуда. Взад вперед чуть не триста верст, зато радостный улов. Это был XV-й итальянский век, радостный улов талантов, творчества, энтузиазма.

Кортона

Дорога из Флоренции в Рим идет через Ареццо, потом подходит Тразименское озеро. Сколько раз приходилось проезжать по этой дороге, и не доезжая до озера, на тоскано-умбрийской уже земле видеть справа на возвышенности небольшой городок, как бы увенчивающий ее собою. Вроде правильного трехугольника получалось, гармоничное и уединенное — версты две-три в сторону от главного пути. Вид этой Кортоны говорит: «я сама по себе, у меня свои храмы, есть лесистые обрывы, я живу тихой жизнью, но в церквах моих можно кое-что посмотреть кроме сосуда, из-за которого Филиппо пропутешествовал некогда сюда пешечком».

Кортона всегда, странным образом, тянула к себе — и так и не пришлось побывать в ней. А попасть туда можно было проще, чем во времена Брунеллески.

Там родился и прожил жизнь (отлучаясь, конечно, для работ и в другие города) Лука Синьорелли, там оставил одно из лучших своих произведений, там работал Беато Анджелико, тихий, милый и скромный монах-художник, которому папа предлагал быть архиепископом флорентинским, но он предпочел оставаться со своими Мадоннами, ангелами, играющими на трубах, нежностью и небесной лазурью фресок. О его «Венчании Мадонны Христом» сказано: «Краски этого произведения кажутся приготовленными рукою святого или ангела».

Художнику этому особо близко Благовещение, он и сам благовеститель мира высшего, к этому его тянуло особенно. В затерянном и отчасти загадочном городке Кортоне прелестно его Благовещение — ангел стремительно, даже с повелительностью сообщает смиреннейшей Деве о великом предстоящем Ей (ангел-то и сам

очаровательно женствен). Думаю, женственное, трогательное особенно удавалось Беато Анджелико. В той же смиренной Кортоне есть его замечательная «Встреча св. Девы с Елисаветой». («Вставши же Мария во дни сии с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету» — Лука, 1, 39—40). Вот это все — вполне мир Беато Анджелико. И никогда я не видел этого Visitazione кортонского, краски которого тоже готовил святой или ангел. Но и по снимкам вижу неземную прелесть склоняющихся друг к другу святых женщин, в златистых нимбах, на фоне иконописных гор итальянского «города Иудина», написанных в духе примитива, упрощенно и торжественно, как на иконах. Может быть перед этим Visitazione, как и пред Благовещением в той же церкви я бы помолился (пред ними можно молиться), но в те годы, когда экспресс Флоренция—Рим проносил меня мимо этой Кортоны, был я еще слишком полон искусством, светом, радостью любви к Италии . . . Вряд ли бы помолился.

Кортона, таинственно-привлекательный для меня, уединенный городок на горе, была намечена и в последнем нашем путешествии в Италию — из Парижа. Но тут не хватило уже сил. Пришлось быстро вернуться, повидав кроме всегдашней моей Флоренции только Ареццо.

Орвието

Мимо Орвието тоже проезжаешь по той же дороге, но оно ближе уже к Риму. И другая местность, нет тосканской ясности, уравновешенности. Более сумрачная. загадочная страна, вулканического характера. Над пустынной волнистой равниной вдруг воздымается как

бы скала, на ней город. Почему-то помнится Орвието всегда вечером, поезд останавливается у подножия. постоит, подымит трубою паровоза и дальше в Рим. Темнеющая «игра природы», некий вырвавшийся из бездн всплеск земли и камня остался сзади, как невеселое привидение.

„Urbis vetus" древний город, так назывался Орвието во времена латинян, этрусков, разных вольсков. Военный пункт удивительный: потому и видел у своих стен разные орды, проходившие туда-сюда, но его мало задевавшие — слишком неприступен!

В средние века воздвигся там собор, весьма знаменитый, готический — редкость в Италии. Я не знаю, кто его строил, но знаю, что тот Лука Синьорелли, который жил в Кортоне и которого Муратов называл: «незапятненнейшем из имен Возрожденья, стройнейшим, благороднейшим образом итальянского живописца» — этот Синьорелли написал в Соборе фрески на тему Апокалипсиса, Страшного Суда, Антихриста. Это, конечно, подготовка к Страшному Суду Микель Анджело — недаром флорентинско-римский гигант весьма изучал эти фрески. (Сухие, с зеленовато-медным оттенком красок — как бы отзвук пейзажа этой уединенной страны вулканического типа). Муратов считает, что в теме Страшного Суда Синьорелли провидел некие судьбы Италии. Не знаю, так ли это. Но что поражает — это облик самого художника. Среди апокалиптического хаоса он изобразил и себя, рядом с молодым монахом Беато Анджелико и до какой степени они оба не подходят тут ни к чему апокалиптическому! Синьорелли изображен благосклонным, приветливым старым художником, отлично одетым (он и был как бы «барином» среди тогдашних живописцев). Беато Анджелико (начавший роспись

Собора — Синьорелли его заместил) — тоже милый, с открытым и добрым лицом монах с капюшоном.

Вот Кортона и оказалась чем-то связанной с Орвието: Синьорелли был родом оттуда, а работал во многих местах, но в Орвието особенно, годы, и прославлен особенно за Орвието. Беато Анджелико был фьезоланец, из-под Флоренции, но трудился и в этих обоих городах и видимо, были они — старший и младший — в добрых отношениях.

Но все, что про Кортону, про Орвието знаешь — из книжек, со снимков. Почву Орвието знаю только по знаменитому его белому вину — это уже реальность: сухое, златистое, сок таинственных земель. Все-таки, о Синьорелли хочется сказать еще два слова. Был он знаком о отцом Вазари, и Вазари мальчиком видел его у себя в Ареццо. Да, это был приветливый красивый старик, обласкавший смущенного ребенка, (учившегося уже рисовать). Синьорелли остался в памяти его живым, благостным видением. «Старайся, дружок!» — сказал он ему, и эти слова, пятьсот лет назад сказанные, кажутся сейчас легендарными, как легендарно то, что пятьсот лет назад видел мальчик в доме отца этого высокого старика, красивого и благосклонного, при взгляде на которого никак не придет в голову, что вот он писал Страшный Суд и «чудеса» Антихриста. "Impara, parentino!" — и мальчик трудился. Но вышел из него не великий художник, а замечательный биограф чуть не всех художников Возрождения.

Дни же свои кончал Синьорелли в родной Кортоне, и может быть, увенчание этих дней, некий высший почет, оказанный ему, состоял в том, что последнее его произведение, заказанное ему монастырем в Ареццо, монахи, как чудотворную икону несли на руках из Кор-

тоны до Ареццо. За ними следовал престарелый художник.

Благословение — благодарение

Да будет благословенно искусство. Да будут прославлены мирной славой художники, верно и честно творившие. Да будет благословенна Италия, родина их, страна доброго и ласкового народа, простая и очаровательная. Да будет благословен вечный свет ее, милый говор народа, плеск ее морей, синеющая даль Тосканы, вечный вид на Флоренцию с Сан Миниато, катакомбы Рима и Аппиева дорога, все обаяния, все чудеса Италии, чудеса не-Антихриста, а Божие, явленные в ободрение и утешение кратких наших жизней.

А если всего не увидел, если кроткая Кортона и сумрачно-таинственное Орвието глядят на тебя только из книг и со снимков, то возблагодари Бога и за то, что́ довелось видеть. Еще раз вспомни Апостола:

— За все благодарите.

1961.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РОССИЯ.

I

II

III

IV

V

ИТАЛИЯ

ОПЕЧАТКА

В оглавлении гл. V, строка 3: вместо Возвращение следует читать Возвращаясь.